

10335

1979

ISSN 00130-360

საზოგადოებრივი მეცნიერებების

# ლიტერატურა საქართველო

1979

2

ქრისტე აღსდგა  
მესამე დღეს  
მკვდრთაგან  
და აღსდგა  
მესამე დღეს

და აღსდგა  
მესამე დღეს  
და აღსდგა  
მესამე დღეს  
და აღსდგა  
მესამე დღეს

და აღსდგა  
მესამე დღეს  
და აღსდგა  
მესამე დღეს



და აღსდგა  
მესამე დღეს  
და აღსდგა  
მესამე დღეს

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Годердзишвили Т.** «Как пойманная птица». Рассказы и повести. Пер. с груз. Э. Джалиашвили. М., 1978. 311 с. 30.000 экз. 1 р. 10 к.

## «НАУКА»

**Гецадзе И.** «Очерки по синтаксису абхазского языка». Синхронно-диахронная характеристика. Л., Ленингр. отд-ние, 1979. 135 с. 1.750 экз. 1 р. 20 к.

## «МЕРАНИ»

**Хергиани М.** «Пусть облака останутся с тобой». Роман. Пер. с груз. К. Коринтэли. Тбилиси, 1978. 187 с. 30.000 экз. 65 к.

## «ГАНАТЛЕБА»

**Рондели Л.** «Традиция и экран». Тбилиси, 1973. 116 с. с ил. 2.000 экз. 49 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ТБИЛИССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

**Гордезиани Р.** «Проблемы гомеровского эпоса». Тбилиси, 1978. 394 с. 2.000 экз. 2 р. 93 к.

**Гвенетадзе Г.** «Максим Горький на страницах тбилисской газеты «Новое обозрение», Тбилиси, 1978. 187 с. 1.000 экз. 1 р. 60 к.

10.335  
1979

Ежемесячный литературно-художественный  
и общественно-политический журнал



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ

ФРИДОН ХАЛВАШИ. Стихи. Переводы Алек- сандра Радковского, Евгения Ильина и Марины Тарасовой . . . . .	10
ПЕТР ВЕГИН. Стихи. . . . .	28
АЛЕКСАНДР ИБРАГИМОВ. Стихи . . . . .	32
НАТАЛЬЯ ОРЛОВА. Стихи . . . . .	33
ИЗ ГРУЗИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА. Перевод Нау- ма Гребнева . . . . .	35

### ПРОЗА

НОДАР ДУМБАДЗЕ. Бесы Рассказ. Перевод Камиллы Коринтэли . . . . .	3
ГУРАМ ПАНДЖИКИДЗЕ. Два рассказа. Перевод Ушанги Рижинашвили . . . . .	14
ГУРАМ ГЕГЕШИДЗЕ. Гость Роман. Перевод А. Беставашвили и В. Федорова-Цик- лаури . . . . .	40
1500 ЛЕТ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	
САРГИС ЦАИШВИЛИ. Первая грузинская повесть. Перевод Сергея Серебрякова . . . . .	76

# 2

# 1979

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ВАЛДИС КИКАНС. Оценка «состояния мира и че- ловека» . . . . .	93
--	----

## РЕЦЕНЗИИ



93-65-15  
93-31-28

ДМИТРИЙ ТУХАРЕЛИ, НОДАР ПОРАКИШВИ- ЛИ. Углубляя мотивы прежних работ . . .	101
ГЕОРГИЙ НАТРОШВИЛИ. Заложник Картли . . .	107
НИКОЛАЙ МИКАВА. Жизнь родине одной пред- назначал . . . . .	110

## ОЧЕРК

ЮРИЙ БУРЛАКОВ. Возвративший легенду . . .	113
---	-----

## ИСКУССТВО

ГИВИ ОРДЖОНИКИДЗЕ. Кавказская киноповесть	123
---	-----

## ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

ЗОЯ МАСЛЕНИКОВА. Портрет поэта . . . . .	132
АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» . . . . .	155
ХРОНИКА . . . . .	157
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА . . . . .	159

---

*Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются*

---

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Гиви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТКИН,  
Исидор КОЗАЕВ, Георгий ЛОМИДЗЕ, Георгий МАРГВЕЛА-  
ШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Михаил МРЕВЛИ-  
ШВИЛИ, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора),  
Эммануил ФЕЙГИН, Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

**НАШ АДРЕС:** 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

## ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора —  
93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59,  
отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отде-  
л критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очер-  
ка — 93-65-19.

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

# БЕСЫ

## Р а с с к а з

Бесы бывают трех видов.

У одного — стоячие уши, козлиные копыта, козлиная же борода, крошечные, с мизинец, рожки и быстрые косящие глаза. Очень похож он на козла. Но это бес. Говорит он всевозможными голосами, каким пожелает, таким и заговорит, хочет — женским, хочет — мужским или детским, и голосами разных животных говорить умеет, а птицам — так всем подражает.

Второй бес — хвостатый, уродливый, нескладный, несуразный. Ступни ног у него вывернутые, нос крючком, во рту еден зуб торчит, во лбу один-единственный глаз зеленым огнем горит, а туловище косматое-волосатое.

У третьего беса четыре руки и четыре ноги. На каждой по шесть пальцев красуется. Лица у него два, на каждом по два глаза. Спины вовсе нет. С обеих сторон туловища — живог. Два живота и два пупка у этого беса. С обеих сторон выглядит он совершенно одинаково. Словом, он такой, как если бы взяли двух одинаковых бесов и склеили бы их спинами друг с другом.

Существует, правда, еще один бес, но о нем я вам расскажу напоследок, в самом конце.

Первых трех бесов я не видал, но их своими глазами видел дед мой, Манавел Цинцадзе.

Того, который на козла похож, — в Медвежьей лощине.

Хвостатого-косматого — в Лашис-геле.

Беса на обе стороны одинакового — на горе Сатаплиа.

От всех трех встреч с бесами у деда Манавела остались страшные следы.

...Пришел я, значит, в Медвежью лощину лыко для годори драть. День-то уже на исходе был, вот-вот смеркнет.

Ну, кончил я, значит, работу, связал целый пук лычины, умылся, сел на камешек, вытащил чубук свой, набил его самсуном — дай, думаю, одну-две затяжки сделаю, да и пойду домой.

Ударил я огнивом о кремь, глядь, а он-то, скаженный, во он, на соседнем камешке, сидит-посиживает да на меня поглядывает. Я — руку к поясу. Нет, слава богу, топор на месте, за поясом.

— Тьфу, ч-черт! — вырвалось у меня. Вскочил я сам не свой, перекрестился трижды и за топор схватился.

— Сам ты черт и собачий сын в придачу! — говорит он мне.

— А ты тут кто такой! — гаркнул я на него и опять хочу крестным знаменем себя осенить, да не тут-то было!

Все шиворот-навыворот делаю, вместо того чтобы ко лбу руку поднести, к пупу тянусь. А нечисть эта глядит на меня да посмеивается.

— Ать! — заорал я. Но это мне только представлялось, что заорал, а на деле-то я просто рот беззвучно разевал.

— Манавел, раззява этакий, брось-ка ты свой топор, да и подсаживайся ко мне, потолкуем.

— О чем мне с тобой толковать, чертов ты сын, — говорю, а сам думаю: обидится, чего доброго. Какое там? Это для него, видишь ли, все равно как если мне скажут: ты, Манавел, сын Афрасиона. Словом, что мне оставалось делать, сел я насупротив него, а он как начал меня обрабатывать!

— Манавел Цинцадзе, — говорит, — ты парень видный, и лицом пригожий, дюжий да сноровистый... Ты чему смеешься, собачий сын, я ведь тогда не такой был, как сейчас, на меня глядеть любо-дорого было! Да, и вот, значит, хочу, — говорит, — тебя в зятьях иметь. Женись на моей дочери, Манавел, кум королю будешь. Серебром-золотом тебя засыплю, сиди, заложив ногу на ногу, и плюй себе в потолок, хочешь — на ковре под орехом с боку на бок перекатывайся и распевай «хасанбегуру» и «криманчули».

— Сперва скажи, человек ты или дьявол, а потом видно будет.

— Человек я, Манавел, человек, ты же слышишь, я с тобой по-человечьему разговариваю, — отвечает он.

— Ежели ты человек, почему на козла похож? — спрашиваю, а у самого по спине, по самому хребту, холодный пот в три ручья бежит.

— Что поделаешь, мало разве людей, которые на свинью или на осла похожи, и никто их из-за этого не бракует, — отвечает мне этот ирод. А я — что я, ничего я ответить тут не могу, потому как правду он говорит, сущую правду.

— Покажи-ка мне твою дочку, — говорю ему эдак обходительно, ласково.

И только успел я эти слова произнести, он как заблеет! Заблеял козлом, слышь ты. А только он заблеял, скала за его спиной вдруг раскололась, и вышла оттуда девица, да ай какая красавица! Видывал ты восход солнца с вершины Бахмаро? Не видывал! Случалось тебе видеть, как темной ночью из-за черной тучи луна полная выплывает? Не случалось! А когда в саду на всех кустах розовых разом все розы распускаются, видал? Нет, не видал!

Заговорила она со мной, да как заговорила! Слышал, как из тысячи наклоненных кувшинов, воркуя, полетится темно-красная «одесса»? Нет, не слышал! Лунной ночью по весне как запоют, зальются все соловьи, дрозды и сойки, какие есть в Гурии, слышал? Нет, не слышал...

И вот, встала она, краса неопиcуемая, ненаглядная, рядом с уродом, страшилой отцом своим, как чудо некое встала с ним рядом и стоит, глядит на меня...

— Ну, что теперь скажешь, Манавел Цинцадзе, лопни глаз за твои, — говорит мне вражья сила.

А я — что мне сказать! Вернее, хстел было я что-то там вякнуть, да не смог — чувствую, язык в живот провалился, у самого пупка подрагивает.

— Ты мне так зазря ее не отдашь, что-нибудь взамен потребуешь, — пролепетал я, обретя наконец дар речи.

— Да что с тебя требовать, голь ты перекатная! В колхозе по двести граммов молодой кукурузы за трудодень получаешь, что мне с тебя взять! Потому душу должен ты мне запродать, слышишь?

При этих его словах душа моя разнесчастная чуть вон не выскочила.

— Ты как смеешь мне такое говорить! — крикнул я и взмахнул топором, взмахнул да и над башкой его поганой занес, чтобы снести ее, значит, башку-то... Ан!..

Тут дед подворачивает штанину и показывает мне на ногу своей глубокий, на два пальца в икру уходящий, шрам.

— Исчез, морок проклятый, ровно его и не было! Топор мой скользнул по камню, на котором он вроде бы сидел, да с отскока и вонзился в ногу... Ты видел шрам... Кровь — фонтаном, а дед твой Манавел Цинцадзе без памяти наземь грохнулся... По сей день в ушах звенит крик и визгливый хохот поганого: «Душу стереги, Манавел, душу! Чтобы не сбежала душа-то! Ха-ха-ха!».

А больше ничего не помню.

Второго беса встретил я в Лашис-геле. Была пора ловли усача, и пошел я на ночную рыбалку — сторожить рыбу, она шла из Губазоули в Лаше метать икру. Поставил, значит, я запруду с таким расчетом, что осталась только протока для рыбы, сел, достал свою трубку, набил ее табаком и слышу — забилась рыба, застучала. Ну, думаю, пошел усач. Приготовился сеть забрасывать и почему-то вбок глянул. И что же? Не сидит этот поганец?! Сидит и одним-единственным своим глазом зеленым на меня уставился, да сверлит, да сверлит!

Гляжу — не тот он, совсем не тот, что в Медвежьей лоцине мне ногу испортил.

...Как и тот бес из Медвежьей лоцины, одноглазый предложил мне свою красавицу-дочь в жены и взамен душу потребовал. Вдобавок он пообещал место председателя колхоза и один батман золота...

— Ну уж этого я живым не выпущу, — решил я про себя.

Размахнулся и набросил на него сеть. Накрыла его сеть. Потянул я к себе, а он к себе тянет. Я опять тяну, он опять упирается. Только деваться-то ему все равно некуда: сеть как раз за его зуб зацепилась, зуб-то ровно крюк изо рта торчал. Запустил я руку в пасть ему, чтобы сеть высвободить, и... — Тут дед Манавел бережно протягивает правую руку и показывает мне мизинец и безымянный палец. А остальных пальцев

на руке его нет. — Вот эти два пальца и удалось мне выхватить из пасти его поганой. Погубил меня, окаянный, да ведь хорошо всю руку не откусил! И на том спасибо...

Выдвигать  
Хорошо  
2022010933

Третий бес, или двусторонний, встретился деду Манавелу на горе Сатаплиа, когда он поднялся туда улы свои осматривать.

Этот бес тоже предложил деду свою дочь в жены, да еще посулил ему место секретаря Чохатаурского райкома за его, манавелову, душу. Дед его высмеял.

— Чтоб ты ослеп, Манавел, хам неблагодарный, не ценишь красоты моей дочери, — рассвирепел оскорбленный бес и ткнул мне палец в глаз.

Я то успел глаза рукой заслонить, да запомнил, что ведь я теперь двупалый. Так что ткнул-таки меня проклятуший в правый глаз и выколол мне его...

— Ты чего смеешься, старая, чего доброго, ребенок подумает — брешет дед Манавел! — рассердился он на бабушку, вошедшую в это время в комнату.

— Не верь ему, нэна, не верь! Врет все. Такой он и был, когда я за него замуж шла. Сам он черт, какой бес с ним бы справился, — не реагируя на замечание, говорит бабушка, забирает со стола порожний кувшин и выходит из комнаты.

— Чего ты убивался с этими бесами, дед, женился бы на дочери одного из них — и дело с концом, был бы теперь первым на селе человеком, — говорю я, захмелев от «одессы».

— А душа-то, собачий ты сын, душа как же? — возмущается дед и стучает меня по голове теми своими двумя пальцами.

— Что за душа у тебя такая, подумаешь, — пренебрежительно говорю я.

— А каково было бы, если б ты бесовым внуком оказался? — спрашивает дед и сверлит меня единственным глазом, точно дулом маузера.

— Да, твоя правда, об этом я и не подумал, — извиняющимся голосом говорю я.

— Не подумал! А пора бы этакому дылде над сказанным думать. — укоризненно говорит разморенный вином дед Манавел и переворачивает в камине суковатое бревно.

Входит бабушка и ставит на стол кувшин, до краев полный черной «одессы».

И вдруг из этого самого кувшина вылезает маленький, ну совсем малюсенький бесик. Такой малюсенький, что на ладони свободно уместится. Зато нос у него большой, как крупная картофелина торчит на его красном, точно спелый помидор, лице. Тело у него совершенно голое, безволосое, и к тому же прозрачное. Гляжу на него и не пойму, какого он пола, женского или мужского. Словом, ни то ни се. На руках у него по семь пальцев, а на ногах — не видно, потому как обут он в деревянные коши. Этого беса Манавел не видит, потому что это мой бес, собственный. Вот он спрыгнул с горлышка кувшина и примостился на краешке моего стакана.



— Хочешь, манавелов внук, продай мне свою душу, и я все тебе расскажу как по правде было, — говорит он мне, посмеиваясь.

Смех у него такой добродушный, что не только душу — и плоть ему продать не пожалеешь. И лицо-то у него пьяненькое.

— Забирай так, сдалась мне эта душа! — отвечаю я заплетающимся языком.

Мой бес начинает рассказывать.

Манавела Цинцадзе затащили в лес братья Шаликашвили и привязали к огромному дубу. Трое их было. Шаликашвили: Фридон, Мамиа и Кациа.

Манавел Цинцадзе умыкнул невесту младшего брата, Кациа, — Тинатин Накашидзе, обрученную с ним еще с колыбели.

Однако это еще как сказать — умыкнул: в Бахмаро на празднике увидела его Тинатин Накашидзе, в черной чохе сидел он на белом Шамиле. Сперва он всех обскакал в пятиверстной скачке, первым пришел. Жеребец весь в пене был под лихим наездником. После того одним выстрелом вдребезги разнес хрустальный кубок, установленный на четырехсаженном шесте. И наконец, обнаженный по пояс одним духом взобрался на обмазанный маслом трехсаженный еловый столб. Снял серебряный кубок, на верхушке столба водруженный, под торжественные крики обезумевшей толпы подошел к сияющей, точно солнце, красавице Тинатин Накашидзе, опустился пред ней на одно колено, поцеловал подол ее платья и преподнес кубок зардевшейся девушке.

Пятнадцати лет не было в ту пору Тинатин Накашидзе, а Манавелу Цинцадзе девятнадцать только исполнилось, и истинно не было равного ему.

Неделю спустя получил Манавел Цинцадзе письмо от Тинатин, дочери Накашидзе.

Письмо сперва оглушило Манавела Цинцадзе. Потом он совершенно обезумел от радости, съел целую горсть земли и — была не была! — решился: сел и написал ответное письмо.

В ночь на четырнадцатое октября, в час, когда засияла полная луна, к повороту, ведущему в село Распятие, к подножью огромного древнего дуба, не силой, а своей волей, по любви пришла Тинатин, дочь Накашидзе. Босая, в одной сорочке.

Манавел Цинцадзе подхватил свою радость, закутал в бурку и, усадив впереди себя на неоседланного коня, умчал.

Три брата Шаликашвили бросились в погоню.

Манавел стрелял в каждого.

Конь пал под Манавелом, сраженный шаликашвилевской пулей.

И пока Манавел сумел подняться с земли, они окружили его.

Братья Шаликашвили затащили в лесную чащу Манавела Цинцадзе и привязали к стволу дуба.

— А ну, Манавел Цинцадзе, покажи мне руку, которой ты писал письмо моей невестке? — велел старший брат, Фридон Шаликашвили.

Руки, крепко-накрепко связанные за спиной, онемели, затекли, Манавел их уже и не чувствовал.

Тогда зашел за дерево Фридон Шаликашвили и хладнокровно отсек сперва большой, затем указательный и наконец средний палец на правой руке Манавела Цинцадзе.

Фонтаном брызнула застоявшаяся кровь. Вместо боли облегчение почувствовал Манавел Цинцадзе, и радостный стон вырвался из его груди.

— Ишь, ишь, герой-то какой, а! — с издевкой проговорил Фридон Шаликашвили.

— А покажи-ка мне ногу, которой ты намеревался переступить порог дома Накашидзе! — сказал средний брат Шаликашвили, Мамаи, и обнажил свою саблю.

У Манавела потемнело в глазах.

— Не калечь, меня, князь, — треснувшим голосом взмолился он.

— Не лучше было бы тебе калекой быть тогда, когда ты в Бахмаро на коне гарцевал? — недобро засмеялся Мамаи Шаликашвили и ударил саблей по правой икре Манавела Цинцадзе.

Манавел почувствовал, как сабля рассекла кость и потерял сознание.

— Пришел в себя? — спросил теперь младший брат, Кациа Шаликашвили, увидев, что Манавел открыл глаза. — Покажи-ка мне тот глаз, которым ты впервые взглянул на мою невесту Тинатин...

У Манавела волосы дыбом встали и язык отнялся.

Кациа обождал, пока Манавел чуть-чуть оправился.

— Что вы творите, изверги! Христа не мучали так, как вы меня, какой такой грех на мне...

— Глаз покажи, Манавел, глаз!

— Не делай этого, Кациа, не лишай меня света божьего! — Не хотел плакать Манавел, слезы сами полились.

Все было тщетно: Кациа Шаликашвили приставил кончик сабли к правому веку Манавела Цинцадзе и надавил...

Получеловека нашли жители села Распятие на следующее утро в лесу.

Полгода не вставал с постели Манавел Цинцадзе. Ни слова, ни стона не вырвалось из его уст за все это время. Когда шесть месяцев спустя соседи увидели в проулке изувеченного, хромого Манавела Цинцадзе, прозвали его «Бессмертным Манавелом». Так и осталось за ним это прозвище...

Спустя год Тавберидзе, житель соседнего села, что за Медвежьей лощиной, нашел в лощине тело Фридона Шаликашвили. Изумление и испуг — застыли в раскрытых глазах его. Ни огнестрельной, ни колотой и никакой иной раны не оказалось на теле Фридона. Сердце у него разорвалось от страха.

— Я-то слышал за полночь рев какой-то в Медвежьей долине, да подумал: верно, медведь... — сказал Леварсий Тавбе-ридзе.

Прошел еще год, и в Лашис-геле нашли Мамаи Шаликашвили.

Одним ударом сабли рассечен был Мамаи от плеча до тула. Сомнений быть не могло: Бессмертный Манавел пил кровь Шаликашвили.

В лес подался Манавел Бессмертный.

Кадиа Шаликашвили, жаждущий мщения убийце своих братьев, был обнаружен стражниками на горе Сатаплиа. Пуля, метко пущенная из берданки, разможила ему лоб. Его нашли как раз под тем дубом, под которым двусторонний бес выколол глаз деду Манавелу.

Весной 1918 года вышел Манавел из леса.

— Тинатин, а ну неси нам еще кувшин «одессы», не то горло пересохнет, — зовет дед мою бабушку Тинатин.

Бабушка приносит еще кувшин вина и, ласково улыбаясь, садится рядом с дедом.

Дед продолжает что-то рассказывать о бесах, но он не знает, что у меня есть мой собственный бесик, маленький-маленький, вот он сидит на краешке моего стакана. Болтовня дедушки его веселит, страшно забавляет, он хохочет и рассказывает мне все как по правде было.

Позже, когда минует полночь, мой бес залезет обратно в кувшин и все мы, с бесами, с правдой и сказкой, с дедушкой и бабушкой уснем возле тлеющего камина.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

## НЕ СПИ!

Начинает темнеть или нет?  
Не сдавайся ни сну, ни покою!  
Словно тучи ползут над тобою,  
Пропуская скудеющий свет  
Дня минувшего, рыхлые тени —  
Тени замыслов, дум и стремлений.

Начинается дождь или сушь?  
С каждым мигом все уже дорога,  
Та, которой прошло очень много  
Отягченных заботами душ.  
Отпечатались в глине белесой  
Все подошвы, копыта, колеса.

Начинает темнеть или нет?  
Не сдавайся ни сну, ни покою.  
Дерева, шелестя над скалою,  
Посылают прощальный привет.  
Тени веток легли на тропинки,  
Словно синенькие косынки.

Кто по этим тропинкам бредет?  
Кто по ним поднимается в гору?

...Улыбаюсь земному простору.  
Слышу гул запредельных высот.

В разбухающих сумерках ночи  
Там внизу громыхает большак.  
Но по старым тропинкам — короче,  
Хоть и тяжек порой каждый шаг.

Снова вечер зовет торопиться.  
Не дает постоять в холодке.  
И, как старых домов черепица,  
Волны моря горят вдалеке.

Призывают меня ураганы,  
Притворившись сейчас ветерком,  
Где-то встречи, что с детства желанны,  
Где-то все, с чем еще не знаком.

Тяжелеют и храмы, и горы.  
Засыпает сама тишина.  
Но по-прежнему кличут просторы,  
Но по-прежнему мне не до сна.

Жалко тратить на сон эти дали,  
Эту ширь, эту явь, этот свет.  
Вам такое приснится? Едва ли.  
Начинает темнеть или нет,



Не сдавайся ни сну, ни покою!  
До рассвета броди между скал.  
Цепенеют внизу под горою  
Те слова, что сегодня слышал.

Сердце трогают храмы и скалы  
И вода, что звенит в родниках.  
Даже лающие шакалы  
Близки сердцу в родимых краях.

Не засни, не засни этой ночью!  
Хоть и стоит большого труда.  
Но зато убедишься воочью,  
Что прекрасен твой край, как всегда.

Перевод Александра РАДКОВСКОГО

## ЛЮБОВЬ

Если б был я, представь,  
Твоим днем, дорогая,  
От тебя отогнал бы  
Гнетущую, темную ночь.  
Если б был я надеждой  
(Счастливая доля какая!),  
От тебя безнадежность  
Прогнал бы я прочь.

Если б был я землей,  
Окружал тебя свежей травой,  
Если б солнцем —  
Тебя окружал бы теплом.  
Будь я просто цветком,  
Постарался б цвести пред тобою,  
Так цвести,  
Чтоб не думала ты ни о ком.

Если б был я дорогой,  
Спешил бы, тебя увлекая  
К вере и доброте,  
Без которых так трудно живым.  
Если б небом, —  
В глазницах твоих навсегда я  
Чистоту бы забыл,  
Глубину я оставил бы им.

Если б был я любовью,  
Вовеки другое жилище

Не искал,  
А с тобой  
Был всегда, до конца своих дней.  
И всегда бы старался  
Быть лучше, возвышенной, чище...  
Если б славой я был —  
Стал бы доброю славой твоей.

Если б был я вином.  
То вином опьяняющим был я.  
Чтоб меня ты пила  
И хотела пригубить опять.  
Будь я птицей,  
Тебе дал бы самое лучшее —  
Крылья,  
Завещал бы высокое счастье летать.

Если б был я трудом,  
На руках моих вздулись бы вены —  
Чудеса рукотворные  
Создал бы я для тебя,  
Чтоб от грубых рубцов,  
Что в душе оставляют измены,  
Твою душу очистить  
И ей поклониться, любя.  
Ты меня не бросай.  
Что с того, что других — миллионы?  
Ты меня не бросай  
И поверю я в рай.  
Ты души моей атом,  
Ты атом души расщепленный,  
Озаряй же мое бытие  
И мое небытие озаряй!

Перевод Евгения ИЛЬИНА

## ПЕРГАМ ПРЕДО МНОЙ

Садилось солнце на горе,  
и белой  
колонной мраморной  
клонился день.  
Я на холме стоял оцепенело,  
и в этом золотом сиянье  
сам  
незримо растворялся, как Пергам.  
Я собирал из мраморного праха  
осколки дум своих,  
я вспоминал,  
и стену времени,  
избегнувшую краха,  
я, как пергамент,  
медленно читал.

На ней поблекли облики столетий,  
а я стоял, мгновением сражен,  
я лишь его, прекрасное,  
приветил  
среди бесстрастных, рухнувших времен.  
Всего одним мгновеньем  
я проверил  
закатный путь,  
который не прошел,  
а надо мною гордо небо мерил  
парящий в одиночестве орел.



## ВСТРЕЧА С ХЕТТАМИ

*В Анкаре — крупнейший музей  
хеттской культуры.*

Что служило мастерскою хеттам?  
Где их дом, затерянный меж скал?  
Меж угрюмых скал в рисунках-метах,  
что художник давний начертал?

Кто он — человек иль небожитель,  
высоко поднявший пенный рог?  
Где нашли они свою обитель —  
среди каких народов и дорог?

Неужели все они пропали?  
Но зачем захватывает взор  
то, что эти хетты высекали  
на могучих спинах наших гор?

Почему напоминают детство  
мне их чанг и глиняный кувшин?  
Словно эти хетты знали средство,  
как свой род сберечь от злых годин.

И какая притаилась сила  
в слове их, потухшем, не живом,  
почему землянка их из ила  
мне напомнила мой первый дом?

Кто он — человек иль древний бог,  
высоко поднявший пенный рог,  
кто пришел сегодня в мир широкий —  
я иль этот пращур мой далекий?

Перевод Марины ТАРАСОВОЙ

# ДВА РАССКАЗА

## МАРКИЗ

— Видит бог, неплохо сегодня вино пошло, — проговорил про себя Рубен и, пошатываясь, зашагал по улице Монтина. — Часа три уже, наверное, не меньше. Покурить бы, а вокруг на души — все дрыхнут, — бормотал он.

У перекрестка заметил он вдруг трех парней.

«Студенты, видно», — подумал Рубен, и ему до смерти захотелось поговорить с ними.

И вообще водилось за Рубеном такое — чуть выпьет бывало, все прохожие женщины кажутся ему удивительно красивыми, а мужчины — сплошь симпатягами, и поговорить охота — страсть, к каждому встречному-поперечному с разговорами пристаёт.

Рубен, спотыкаясь, направился к парням. Те сразу умолкли и с любопытством уставились на его громадный нос.

— Разрешите прикурить?

Низенький толстячок полез в карман за спичками.

Рубен, зажмурившись, жадно затянулся, а потом широко раскрыв глаза.

— Ребята, затем и создал бог человека... — начал Рубен.

— На здоровье, дяденька, на здоровье, — в один голос сказали юноши и заторопились, стремясь отвязаться от Рубена.

Рубен понял, что ребята бросили его, и, пригорюнившись, поглядел им вслед. Потом вспомнил вдруг о папиросе, судорожно затянулся раз-другой-третий, но, убедившись, что папироса погасла, в сердцах швырнул ее оземь и, бормоча проклятья, поплелся дальше.

То и дело он останавливался, ибо вино и усталость смыкали ему веки. Рубен с усилием открывал глаза и продолжал свой путь. Вскоре он завернул в тупичок и опомнился, слышав грозное рычание громадного черного пса.

Протрезвевший со страху Рубен застыл на месте и стал разглядывать пса. Пес был ему почти по пояс. Он стоял чуть поодаль и рычал.

— Ты что же, решил не пускать меня дальше, так я понимаю? — спросил Рубен и попытался шагнуть вперед.

Пес залаял и двинулся ему навстречу.

— Не время, брат, шутки шутить, ночь уже кончается, — рассердился Рубен.



Но пес и не собирался шутить. Расстояние между ними сократилось, и сердце Рубена тревожно зачастило.

— Ну, давай поговорим по-мужски, — попытался усовестить пса Рубен и, испуганно осклабясь, пошел на дворовый. — Пойми, нехорошее ты дело затеял. Стоит ли прыгаться, почему зря, а? — продолжил он и слегка успокоился, увидев, что расстояние между ними вновь увеличилось.

Пес рычал по-прежнему.

— Эх, кабы знать, как тебя звать-то! Ну успокойся, не рычи, пожалуйста, брось ты нервы себе трепать понапрасну! Это ты зря, поверь мне. Ну видишь, никуда я не убегаю. Уймись ты, бога ради. Давай мирно разойдемся, а? Ты к себе и я к себе, что, идет? — уговаривал пса Рубен, кашаривая рукой пальцы в кармане. Под руку попался пустой коробок. Рубен смял его и, чертыхнувшись, отбросил в сторону. Пес насторожился, и расстояние между ними вновь сократилось.

— Ты погоди, погоди, братец, это ведь просто бумажка, понимаешь, — вскричал, пятясь, перепуганный Рубен. Потом утер пот со лба и жалко промямлил: — Ты, верно, подумал, что это камень, да? Ну разве похож я на человека, у которого камень за пазухой, а? Ну что ж, братец, коли ты такой упрямец, я могу и на ту сторону перейти.

Рубен перешел было на другую сторону улицы, но пес, рыча, последовал за ним.

— Ну уймись ты, пожалуйста, будь другом. Хочешь я назад вернусь, а? — предложил Рубен и вновь возвратился на старое место.

Чуть помолчав и переведя дыхание, Рубен продолжил:

— Долго мы будем так стоять, а? Ну постоим час-другой, и что из того? Знаю я вашего брата — все едино ты меня домой непустишь. Так и быть, вернусь-ка я обратно. Придется петлю сделать. Что, хорошо это по-твоему, да? Ведь я устал, братец, устал, должен же ты разбираться в людях, а?

Пес все рычал.

— Что ты, что ты, да разве я на тебя обижаюсь, — решил ублажить Рубен пса и стал потихоньку отступать.

Сделав несколько шагов и убедившись, что отошел от пса на внушительное расстояние, Рубен резко развернулся и бросился наутек, но не тут-то было: пес в два прыжка настиг его и вцепился зубами в левую ляжку.

Всю ночь Рубен провел на пастеровской станции. Утром, когда врач сделал ему второй укол в живот, Рубен скривился от боли.

— Что, больно? — спросил врач.

— Что вы, что вы, очень даже приятно.

— Коли шутить изволишь, быть тебе живу. А теперь ступай-ка ты к хозяевам того пса и расспроси хорошенько, не болен ли чем их пес и не страдает ли бешенством.

— Да вы, доктор, как я погляжу, похлеще меня шутить горазды, — усмехнулся Рубен и попытался распрямить спину.

— А я и не думал шутить.

— Вот это да, он, значит, меня укусил, и я же в его самочувствии справляться должен, так что ли?

— Не до разговоров мне, братец, видишь, большие дожди даются.

— Не сердись, доктор, коли я что не так сказал! Я думал, вы шутите. Но раз нужно, что ж, была не была, схожу да узнаю. Боюсь только из себя выйти.

— Заруби себе на носу: если пес здоров окажется, десяти уколов тебе за глаза хватит.

— А вдруг он болен, что тогда? — спросил встревоженный Рубен.

— Что ж, тогда придется тебе сорок четыре укола вклатить.

— Сорок четыре? — вконец перетрусил Рубен и заслонил рукой живот.

«Ничего себе, сорок четыре укола, — думал Рубен, направляясь к проклятому тупичку. — Выходит, я до сентября должен колотиться. С моим везением не то что пес, еще и хозяин его бешеным окажется. Господи, помнишь, просил я тебя однажды моего начальничка-заразу в шею погнать, так ты его еще большим начальником сделал. Но клянусь тебе Зурабом моим и Нодаром, и женой Аничкой в придачу, не роптал я тогда на твою немилость, боже упаси. Так услышь хоть эту мою просьбу: сделай так, чтобы пес тот бешеным не оказался, слышишь, не то до самого сентября будут в живот мне иглу десятивершковую всаживать. Смешно тебе, да? Что, мол, мужчине какая-то там игла? А мне не до смеху. Да и тебе, поверь, было бы не слаще, вздумай кто иглу тебе в живот всадить, — размышлял Рубен, корчась от страха перед грядущей болью. И потом, где это видано, чтобы тебя какой-то паршивый пес укусил и ты же еще ходил его проведать, не болит ли у тебя, что дружок Зорба (Рубену и самому было невдомек, с чего это он прозвал пса Зорбой), не беспокоит ли вас ненароком бешенство. Да какой с собаки спрос (хватит ей и того, что бог ее собакой создал), хозяина ее к ответу притянуть надо. Если бог даст и не окажется у пса бешенства, дней через десять утоплю я его, как пить дать утоплю, прямо с Мухранского моста и скину в Куру. Ну и как, скажу, ничего вас не беспокоит, милый песик, а как насчет аппендицита, порядок? Только с псиной разделаюсь, тут черед хозяина и настанет, задам ему перцу, ей-ей, не будь я тогда Рубен Мазиашвили».

В знакомом тупичке Рубен еще издали увидел громадного пса.

«Он это, он», — оробел Рубен, не осмеливаясь зайти в тупик. Пес узнал Рубена и тут же принялся рычать.

— Чего тебе еще надо, сукин сын, будет скалиться-то. Что, мало тебе вчерашнего укуса, да?

Во дворе Рубен приметил мальчонку, гонявшего мяч.

— Мальчик, подойди-ка сюда, мальчик. Как тебя зовут?

— Тимур.

— Ва, какое хорошее у тебя имя — Тимур. Ну а теперь скажи мне, пожалуйста, чей это пес?

— Который? Маркиз, что ли?

— Нет, не Маркиз, во-он тот пес!

— А он и есть Маркиз.

— Ну будь по-твоему, так чей же этот твой Маркиз бх?  
дет? — Ничейный он. Его хозяин две недели, как умер, а те-  
перь ничейный он. 303.23110933  
— Как же так, нельзя было в управление позвонить, а?  
Он ведь всех перекусает тут!  
— Верно, вот и вчера он одного дяденьку укусил.  
— Это меня он укусил, паршивец.  
— Вас? Так это вас мой папа в больницу отвез, да?  
— Как, так это отец твой был? Ну-ка позови его на  
минутку.

Мальчик побежал.

— погоди, погоди, эй, как там тебя?

— Тимур, — ответил удивленный мальчик.

— Ах, да, Тимур, ведь ты говорил уже. А ну-ка припом-  
ни, Тимур, что отец рассказывал, вернувшись из больницы. И  
был под мухой, ни черта не помню.

— Папа первым услышал ваш крик и выскочил во двор. А  
когда он из больницы вернулся, сказал, что у укушенного та-  
кой нос громадный был — просто непонятно, как это Маркиз  
нос у него не отхватил.

— Вот это уже глупость сморозил твой папа.

— Ну что, позвать его? — спросил Тимур.

— Да не надо, видно, твой папа не умнее тебя будет.

— А у меня по всем предметам пятерки.

— Потрясающе. Так как тебя звать-то?

— Тимур, — обиженно ответил мальчик.

— Тимур, да, да, Тимур! Скажи мне, пожалуйста, Тимур,  
этот пес, случаем, не бешеный, а?

— Что вы, дяденька, какое там бешеный. Наш Маркиз в  
прошлом году медаль получил на выставке. Маркиз, Маркиз! —  
позвал мальчик пса.

— Да не зови ты его, верю, верю я! — вскричал перепу-  
ганный Рубен и попятился.

— Не бойтесь, дяденька!

— Кто тебе сказал, что я боюсь. Убери ты его подальше  
отсюда!

Мальчик увел пса и вернулся к Рубену.

— Так ты говоришь, не бешеный он, а?

— Да нет, не бешеный он, дяденька!

— Твоими устами мед пить, мальчик, дай тебе бог сча-  
стья, порадовал ты меня. А теперь скажи, как тебя звать?

— Тимур, Тимур, — рассердился мальчик.

— Тимур, дорогой, я к тебе еще завтра наведаюсь, ладно?

А ты последи за псом, может, заметишь что, расскажешь тогда.

Мальчик с удивлением смотрел вслед удаляющемуся трус-  
цой Рубену.

На следующий день после укола у Рубена нестерпимо за-  
болел живот. Зло чертыхаясь, брел он по улице Монтинна.

«Вот пойду я сейчас в управление и заявлю на этого мер-  
завца. — думал Рубен, — погляжу, как он там порычит, су-  
кин сын... Не-е-ет, так не годится, что я, доносчик какой! Не

пристало мне такими вещами заниматься, не по совести будет! Нет, нет, уж лучше сунуть пятерку сыну нашего дворника, пусть утопит этого гада... Надо было мне взрослых порасспросить, зря я мальчишке доверился!.. Хотя, кто его знает, может, он после смерти хозяина заболел с горя, ведь собаки почище людей горевать умеют. Эх, наверное, потому и рычал он, бедолага!» — встревожился Рубен.

Когда он подошел к знакомому переулку, собаки не было видно. Рубен осторожно приблизился к тому самому двору и заглянул через щелочку в заборе.

Прикорнувший было во дворе Маркиз заметил громадный нос Рубена и с рычанием вскочил. Чуть погода он прекратил рычание и приблизился к забору.

«Узнал меня, чертяка», подумал Рубен и оглядел пса.

Маркиз оказался вовсе даже не таким черным, как тогда показалось Рубену. Пес был темно-коричневого цвета с небольшим белым пятном на левом боку. Рубен с удивлением отметил, что один глаз у пса был голубой, другой же — карий.

— Вот так так! Что за громадина этот пес! А зубы, зубы какие! — Пот прошиб Рубена при воспоминании об этих самых зубах, вонзившихся в его ляжку.

Бросились в глаза впалые бока пса.

«Ах ты, бедняга. Кто знает, может, после смерти хозяина у тебя и росинки маковой во рту не было», — подумал Рубен, но потом его вдруг осенило: «Черт, а может, он от голодухи заболел! Поди потом, разберись, был он болен до укуса или после заболел? Вот так незадача, напасть какая-то! Дай я его прикормлю эту неделю, все лучше, чем сорок четыре укола».

Эта мысль показала Рубену разумной, и он направился к духану на улице Монтана.

— Одно пиво и две слойки.

Сначала Рубен выпотрошил пиво, потом взял слойки под мышку и пошел своим путем.

Тут он увидел маленькую собачонку и приостановился — может, и у этой глаза разноцветные?

Минут пять он кружил вокруг двора, однако издали ничего нельзя было разобрать.

Когда Рубен подошел к воротам, изумлению его не было предела — Маркиз стоял на том же месте.

— Бедняга, как это ты допер, что я еду тебе принесу? Если ты такой умный, зачем тогда безвинного человека кушал, а?!

Рубен просунул булки в щелку. Пес сначала понюхал их, а затем внимательно оглядел огромный нос своего кормильца, торчащий в щели.

— Ешь, ешь, не стесняйся, только заруби себе на носу, никогда не делай такого, чтобы потом человеку в глаза было стыдно смотреть, усек?

А пес все стоял.

— Ешь, ешь, не отравленные небось.

Маркиз еще раз обнюхал булки и принялся за еду.

На следующее утро Рубен притащил сразу двухдневный писк. На сей раз уговаривать Маркиза не было надобности. Он

с аппетитом глотал еду и благодарно глядел на громадный нос Рубена.

— Этого тебе должно хватить до послезавтра. Завтра я чертовски занят и прийти не сумею. Если я с тобой тут пролягу, чуюсь, кто за меня норму выполнит? И без того я в этом месяце погорел, рублей пятьдесят заработал, не больше. А на какие шиши, скажи, пожалуйста, мне семью на курорте содержать?...

Рубен вернулся с работы усталый, но думы о Маркизе не покидали его.

«А вдруг он все-таки бешеный, что тогда? Врагу своему не пожелаю до самого сентября уколы делать», — думал Рубен на сон грядущий и вертелся в постели, словно на вертеле.

День спустя понес Рубен Маркизу вареного мяса. Игривый во дворе маленький Тимур, уже издали приметив Рубена, с громким криком бросился ему навстречу.

— Дяденька, а Маркиза вчера схватили и увезли.

— Как это увезли? — не понял Рубен.

— Вот так и увезли. Приехали на машине какие-то люди, набросились на Маркиза с сеткой, связали и увезли. Отец говорит, его в Ортачала на живодерню отправили.

— Нашел чем меня порадовать. Попробуй теперь узнать, был он бешеный или нет! — вскричал обескураженный Рубен.

Тимур, разинув рот, глядел на странного дяденьку и не мог взять в толк, почему переживал он смерть пса, который укусил его за ногу.

Рубен рысью помчался по улице Монтина и, плюхнувшись в первое же попавшееся такси, велел таксисту ехать в Ортачала.

«А вдруг не поспею», — трясся Рубен, как в лихорадке, отирая со лба холодный пот.

В кабинет директора через широко распахнутые окна врывался тревожный собачий лай.

— Вчера ваши люди схватили моего пса! — не успев переступить порога, закричал Рубен.

— За собакой, друг мой, присмотр нужен, — назидательно произнес толстяк в белом кителе. На голове его возвышалась соломенная шляпа. Толстяк поминутно вытирал платком лоб в бисеринках пота.

— Будь другом, отпусти ты этого пса.

— Коли он жив еще, пожалуйста, уплати три рубля штрафа и забирай на здоровье.

— Да господи, возьмите хоть пять, только верните мне его.

— Валико, проводи-ка этого человека, помоги ему пса своего отыскать.

Пожилой мужчина повел Рубена к клеткам, из которых доносился истощный собачий визг.

— Какой породы твоя собака?

— Большой такой, коричневый пес. У него еще белое пятно на левом боку.

— Белое пятно? Эх, опоздал ты, братец, мы его уже в расход пустили.

— Как это в расход? — от ужаса кровь заледенела у Рубена в жилах.

— А впрочем нет, у той собаки пятно было на правом боку.

— Хорошие шутки, так можно и человека в расход пустить!

Но сомнение уже грызло Рубена — кто знает, может, это проклятое пятно было на правом боку.

И вдруг Рубен услышал громкий лай. Он сразу узнал голос Маркиза. Пес, видно, тоже узнал Рубена и от радости кинулся на прутья клетки.

— Это он, он, мой пес! Отпусти его, слышишь?

— Отпущу, отпущу, но сначала ты вернись обратно — в контору, значит, заплатишь штраф, а я его прямо туда и приведу, понял?

— Ради всего святого, чтобы он не сбежал вдруг!

— Что значит сбежал, я на этом деле зубы проел, как же, сбежит он у меня, — рассердился Валико.

Рубен заплатил штраф. Валико вывел Маркиза с веревочным ошейником на улицу и вручил конец веревки Рубену.

Обрадованный пес бросился на грудь Рубену.

Ошалевший от пережитого Рубен наподдал ему коленом в живот.

— Быстрее переставляй ноги, чертово семя, — бормотал Рубен.

За ними увязались мальчишки.

— Дядя, дядя, куда это ты пса тащишь?

— К чертовой бабушке!

— Дядя, дядя, а где живет чертова бабушка?

— Брысь отсюда, чертенята! — заорал Рубен.

Мальчишки, хохоча, бросились врассыпную.

— А теперь сиди здесь, паршивец, — сказал Рубен псу, когда они подошли к знакомому тупичку, — и ни шагу отсюда, слышишь? Потерпи пять дней, а потом хоть в тартарары провались. Будь проклят день, когда я встретил тебя на свою голову, — Рубен бросил псу вареного мяса и обозленный направился к дому.

Чуть погода он обернулся — пес трусил за ним.

— Пропади ты пропадом, только дома тебя еще не хватало! — затопал ногами Рубен. Маркиз присел на задние лапы и уставился на Рубена. Рубен пошел дальше, прошел шагов десять и резко обернулся. Маркиз опять трусил за ним. Остановился Рубен, и Маркиз застыл на месте.

Обозленный Рубен швырнул в пса камнем. Когда Маркиз, повизгивая, поплелся к своему дому, Рубен смачно выругался и чуть ли не бегом бросился вниз по улице.

Толстуха с пестрым зонтиком в руке испуганно отпрянула от извергающего проклятия Рубена и проводила его изумленным взглядом.

Вечером Рубен возвратился домой навеселе. Он пожелал доброго вечера хлопотавшей во дворе соседке и, пошатываясь, стал подниматься вверх по лестнице. Не успел он сделать и трех шагов, как едва не упал от изумления: у своих дверей он вдруг увидел Маркиза. Рубен сначала не поверил своим глазам. Потом он крепко зажмурился и снова открыл глаза — Маркиз по-прежнему стоял на том же месте, стоял неподвижно, словно изваяние, и преданно смотрел на Рубена немигающими глазами.

Рубен не проронил ни слова, боясь выдать голосом волнение. Растроганный, он пытался сдержать упрямо подступившие к горлу слезы, и даже не заметил, как по его громадному носу покатилась все же крупная и теплая слеза.

Он наконец-то одолел лестницу и открыл дверь.

— Что ж, раз уж пожаловал, прошу в дом, — сказал он псу.

Пес вошел в комнату и огляделся.

— Ну что, не нравится? Твой старый хозяин, видно, жил побогаче. Ничего не поделаешь, так и живем, — сказал Рубен и принес из соседней комнаты стул.

— Если я очень даже попрошу тебя присесть на стул, ты, конечно, не сядешь. Иди-ка ты лучше сюда, на коврик тебе будет удобнее. Ну что, неплохо мы с тобой устроились, а, как ты считаешь?

Маркиз кивнул головой.

— Ты так киваешь, словно бы все понял. Впрочем, почему же тебе не понять? Иная собака поумнее человека будет. Хотя о тебе этого не скажешь, как это тебя угораздило за ляжку меня цапнуть, а?

Рубен вытащил из холодильника хлеб, мясо и бутылку вина.

— Хлеб и это вот мясо я завтра собирался тебе притащить, но ничего, даст бог, голодными не останемся, — собачью порцию Рубен положил в алюминиевую миску и поставил ее перед Маркизом.

— Я не люблю долго уговаривать. Так что вставай и ешь. Рубен до краев наполнил вином грапёный стакан.

— Давай-ка, брат, этим вот стаканом выпьем за мою семью — за сыновей моих и хозяйку. Видишь во-он ту карточку, это моя Аничка, справа старшенький мой Зураб, а слева младшенький — Нодар. Сейчас они все в Цагвери отдыхают и даже не ведают, что в семействе нашем прибавление.

Жена моя добрая женщина, хоть и запрещает мне пить. Что поделаешь, ведь живем мы небогато. Вот у младшенького нашего Нодара — железки, за ним знаешь какой уход нужен, а я не могу без выпивки. Может, за то я и люблю вечер, что вечером поддать можно. Ни в кино, ни в театр я не хожу, и коверкотный костюм мне не по карману. Так что, если я иногда горло смочу, пострадает от этого кто-нибудь? Я своих детей не обделяю, да и в обиду никому не даю. Когда моему Зурабу двойку в школе вlepили, я им такое устроил — только перья летели. Да, за детей своих я постоять сумею... Слава богу, заработок у меня неплохой, так что и выпивка мне положена. Видишь холодильник стоит? Как ты думаешь, на ка-

кие я его деньги купил, не догадываешься? Это я, брат, в прошлом месяце премию получил. А за что я, по-твоему, эту самую премию получил? За хорошую работу, ведь премию у нас за здорово живешь не получишь. Так могу я, спрашиваете, позволить себе стаканчик-другой иногда пропустить, ведь я не свои кровные пью. Так вот и получается, что и Аничка моя — хорошая женщина, и я на выпивку право имею... Верно я говорю? Нет? А разве хорошо, что ты меня за ляжку укусил, а? Не вот ничего, друзьями заделались и по-братски хлеб-соль делим, так ведь?

А ты знаешь, какой парень мой Нодар? Не чета старшему, бездельнику этакому. Учителя говорят, из него настоящий ученый получится. А что, может, и впрямь он ученым станет — хотя бы один ученый на весь род Мазиашвили, не плохо, а?

Собака перестала есть и усталилась на Рубена. Рубен поднес к губам стакан и осушил его до дна.

— Жаль, что ты вина не пьешь! Давай так сделаем: ты про себя тост произнесешь, а я выпью, идет? Вот ты увидишь, скоро уже, через месяц, какая у меня жена. Только не должна она знать, что ты меня укусил — Аничка ведь и рассерчать может. Впрочем, я ей этого не скажу, а ты не сможешь. Стыдно, авторитет я в семье потеряю, если узнают, что такого здорового мужика собака укусила. Не объяснишь ведь, что ты в тот самый вечер шутить был настроен. Зураб тут же и скажет — Таризл, так тот, мол, тигра голыми руками задушил, как же тебя собака одолела. А может, ты не веришь, что задушил, а? Вот глянь на тот рисунок, да нет, не на меня, на рисунок погляди. Видишь — душит. Что, опять не веришь? Как я погляжу, ты и этому рисунку не поверишь. Видеешь — полурыба-полуженщина, каково, а? Признаться, и я в это не верил, а ведь бывает, оказывается. Эти рисунки жена моя купила... Ты уже, наверное, сказал свой тост, а?

И Рубен осушил второй стакан.

— Что это у тебя за привычка, братец, сначала хлеб съел, а потом за мясо принялся?

Рубен в третий раз наполнил стакан.

— А этот тост выпьем за твой приход в мой дом. И что бы ты семью мою полюбил так же, как и меня. Только знаешь, не обязательно сначала кусать человека. Надо и без того научиться врага от друга отличать. Вот, скажем, та женщина, что нам во дворе повстречалась, — хорошая женщина и семья у нее что надо. Да и вот те, что напротив живут, Зурабшвили, они хоть и с душком, тоже неплохие люди. Селедка, скажем, — тоже с душком, а ведь неплохая штука. Внизу сапожник живет — Сережа. Работяга, каких поискать. Никто, кроме него, ботинки на мою корявую ногу сшить не может. И потом, как шьет! Ранты — лимонного цвета, а скрипят так — с Нахаловского моста аж до Вокзальной площади слышать. А вот тот, что над нами живет, Чхартишвили, доцент, неприятный тип. Ходит надутый, что твой индюк, слезно кроме него никто ничему на свете не учился. Я вот — не ученый, да, но денег за ремонт своей лестницы ни с кого не беру, не то что он. Ну хорошо, темный я, согласен, но зато мой сын Но-



дар будет ученый! Как пить дать, будет! Нет, ты пойми, не затем я это говорю, что кому-то завидую, нет, не такой я человек! И рад бы я за здоровье его семьи выпить, но как? Они скряги такие, даже на Новый год стаканчик не поднесут, чтобы я мог им слово доброе сказать, так вот, брат!

Рубен ненадолго умолк. Вино сделало свое дело, и его неудержимо потянуло ко сну. Потом он вдруг открыл глаза и посмотрел на Маркиза.

— Я затем тебе все это говорю, чтобы ты мог врага от друга отличить и не кусал без разбору всякого встречного. Тебе то что, а вот мне какво? Еще четыре укола — это, брат, больно.

Рубен осушил стакан, подержал его на весу и твердо поставил на стол. Вино вконец затуманило сознание. И сквозь дремоту Рубен не различал уже ни Маркиза, ни портрета Тариела на стене. Все вокруг закружилось — сначала медленно, потом побыстрее и потонуло наконец в вязком молочном тумане. Рубен положил голову на левую руку, а правая, безвольно свисавшая вдоль туловища, ощутила вдруг щекочущее прикосновение теплой шерсти. И Рубен невнятно забормотал во сне:

— Маркиз, ты... ты увидишь... когда наши вернутся...

Рубен размяк от теплого прикосновения собачьей шерсти, и рука его тихо гладила Маркиза, улегшегося у ног.

Чуть погодя, в комнате слышались лишь громкий храп Рубена да прерывистое, свистящее собачье дыхание.

---

## РАШИД

---

Когда Рашид Исмаилов впервые увидел Руставский металлургический завод, от изумления он разинул рот. Ничего подобного в своей жизни он не видел — никакого сравнения с черепичным заводиком в его родном районе.

Третий год уже пошел, как работает Рашид на металлургическом. Стоит только приехать ему в свою деревню, он непременно зайдет бывало на черепичный — проведать старых друзей. И те на него так уважительно смотрят, человек, как-никак, на металлургическом работает.

Сначала Рашид был подсобным рабочим на агломерационной фабрике, но со временем выучился на машиниста, и его определили на коксодробилку. Рашид не знал толком ни грузинского, ни русского, не знал он и того, что творится, что делается на такой огромной фабрике. Зато коксодробилку он знал как свои пять пальцев. Бывало, при надобности, а иногда и без таковой он раза три на дню разберет и вновь соберет мотор. Из элеватора кокс сыпался в машину, здесь он мелко дробился, и другой элеватор переносил его в другое отделение. Честно сказать, Рашид Исмаилов и знать не знал, откуда кокс в машину поступает, куда затем девается, и зачем вообще этот самый кокс нужен. Рашид знал только одно — свое дело: кокс должен быть чисто измельчен.

На смену он всегда приходил загодя: проверит мотор, примет машину у сменщика и давай работать. Больше всего Рашид не любил проверять мотор. Впрочем, не то чтобы не любил — стеснялся, получалось, словно бы он сомневался в честности своего сменщика.

«Мужчина говорит — машин кароши, зачем праверка-мраверка», — говаривал Рашид, но все же ироверял, ибо так того требовал мастер.

И еще мастер говорил ему: если сменщик тебе неисправную машину передаст, тогда наш простой им считается, если же окажется, что тебе всучили машину, а потом она забарахлила, тогда все шишки на нашу голову посыпятся.

«Рази рабочая человек врать будет!» — удивлялся Рашид, но машину все же проверял: что тут поделаешь, не нарушать же приказ мастера.

После четырех дней работы у Рашида бывал двухдневный отдых. И тут же сердце тянуло его в деревню. В деревне жил у него старый отец и три брата — все трое женаты. Были они колхозниками, а вот Рашид в город подался, мастеровым — не лежала у него душа к крестьянскому труду. Но только свободный денек выдастся, он тут как тут в деревне: навезет конфет племяшам, а братьям — сигареты в красивой упаковке. Табаку у них было — завались, да и покрепче — не чега городскому, но рашидовским братьям страсть как сигаретные коробки нравились — вот и накопал Рашид этих самых коробок.

Была у Рашида в деревне невеста, потому еще и тянуло его сюда. Заработок у него был хороший, вина он непил и на шее у него покамест никто не сидел. Старый отец был еще в силе и сам помогал сыновьям. Рашид копил деньги на свадьбу, которую собирался сыграть осенью.

Товарищи знали, что у Рашида есть невеста, и каждый раз подначивали его: признавайся, мол, какой еще подарок припас ты для своей невесты. Рашид улыбался, предпочитая отмалчиваться.

— Эй, Рашид, хотя бы карточку своей девушки показал нам, что ли, — не унимались ребята.

Рашид краснел и вместо ответа глупо скалился.

— Рашид, а, Рашид, а будет у тебя на свадьбе суп пити? — спрашивали ребята.

— И пити тоже будет, во-от какой, — показывал Рашид большой палец.

— А чем ты нас на свадьбе поить собираешься — вином или чаем? — подшучивали ребята.

— Что вы про чай знайт, — покатывался со смеху Рашид, — я такой заварка сделаю, иф-иф скажете.

Во время перерыва Рашид в столовую не ходил.

Завтрак, завернутый в пестрый платок, он всегда приносил с собой из дому. Стоило прозвенеть звонку на обед, Рашид тут же пристраивался у подоконника и разворачивал свой платок. Съест бывало Рашид завтрак, запьет газировкой и примется копаться в моторе, чтобы не забарахлил невзначай.

Из окна был виден главный элеватор. Элеватор поднимался вверх и исчезал в здании фабрики. На главном элеваторе

работали одни женщины. Они тоже не ходили в столовку и завтракали тут же, на рабочем месте.

Сверху женщинам было хорошо видно завтракающего Рашида. Рашид знал, что женщины завтракают наверху, от стеснительности боялся даже глаза на них поднять. Ребята, хорошо осведомленные о стеснительности Рашида, то и дело подначивали его:

— Мы сегодня к бабам завалиться решили, айда с нами?

Рашид краснел, не умея ответить. Он знал, что его товарищи — люди семейные, и дивился, как это они по чужим женщинам шляются. Потом догадался, что ребята шутили, и сам стал смеяться вместе с ними, но краснеть все же краснел.

Знали об этом и женщины с главного элеватора.

— Как невеста твоя поживает, Рашид? — кричали они сверху.

Рашид только скалился в ответ.

— Рашид, Рашид, может, ты к нам поднимешься, а? — в шутку завлекали его женщины.

Однажды Рашид все же осмелился взглянуть наверх и вдруг увидел, что одна из женщин поправляет чулок. Рашид засмутился и как ошпаренный отскочил от окна. Женщины захохотали.

И в то утро Рашид пришел на фабрику загодя.

— Привет Рашиду! — встретил его улыбкой сменщик.

— Как живешь?

— Очень карашо! — улыбнулся Рашид.

— Я слышал, твой отец приболел, что с ним такое?

— Уже каргад арис, — смешал русский с грузинским Рашид, радуясь тому, что болезнь его отца, оказывается, не безразлична этому чужому, в сущности, человеку.

— Не закуришь? — протянул ему сигареты сменщик.

— Ай, спасибо! — Рашид вытащил сигарету, сменщик сделал то же, потом устало протянул Рашиду еще спички и присел тут же, у машины.

— Ух, чертовски замаялся, — сказал сменщик.

Рашид чиркнул спичкой, дал прикурить сначала сменщику, потом затянулся сам и присел рядышком.

— Ночью работай очень чижило, — согласился Рашид.

— Как братья твои, племянники как поживают? — осведомился сменщик.

— Здоровы, очень карашо.

— Ты побыстрей свадьбу сыграй, что ли. Ведь должны мы с твоими поближе познакомиться. Глядишь, встретиться мне где-нибудь твой братец, должны же мы друг друга признать, без этого нельзя. Выпьем за встречу и все такое, ведь не чужой он вроде, брат тебе, так я говорю?

— Ай, спасибо, — сказал Рашид, — скоро свадьба будет, барашка уже жирный.

А время шло. И не успел Рашид опомниться, как зазвонел звонок. Спихнулся Рашид, что машину не успел проверить, но потом махнул рукой: разве такой, мол, хороший человек будет своего товарища обманывать.

Смена началась. Рашид нажал на кнопку, и мотор заработал. Сам Рашид встал у нижнего элеватора, внимательно всмат-

риваясь в дробленый кокс, Когда кокс казался ему крупноватым, он прибавлял количество оборотов, и дробильные молоточки начинали работать побыстрее. Рашид, довольно мурлыча песенку, пробовал измельченный кокс на ощупь.

Не прошло и двадцати минут с начала смены, как раздался треск, и мотор заглох. Рашид быстро выключил машину, затем приподнял огромный стальной щит и устоялся на шестерни. Переключатель скоростей сломался, и выскочившая из гнезда нижняя шестерня застряла между двух верхних.

Рашида прошиб холодный пот. Он окаменел на месте, не зная, что предпринять. Потом вдруг, разом протрезвев, бросился к звонку диспетчера и изо всех сил нажал на кнопку. Все элеваторы застыли одновременно. Из окон главного элеватора высунулись женщины.

Диспетчер дал знать мастеру и начальнику смены, что заминка произошла на коксовом элеваторе. Вскоре показался мастер, за ним шагал начальник смены.

Рашид, уткнувшись головой в коробку с шестернями, пытался высвободить заклинившуюся шестеренку. Ему было стыдно смотреть в глаза своим начальникам. Когда он, наконец, посмотрел вверх, то увидел вокруг машины столько народу, что едва не онемел. Мастер оттеснил Рашида в сторону и теперь уже сам склонился над огромной стальной коробкой. Сначала он внимательно осмотрел всю ее, потом устоялся на коробку переключения, извлек две шестерни из гнезд и еще раз внимательно оглядел коробку. Затем он поднял голову, вытер перепачканные маслом руки и спросил Рашида:

— Ты перед сменой машину проверял?

Рашид весь похолодел.

— Какого черта! — сорвался на крик мастер, но, увидев испуганные и жалкие глаза Рашида, тихо договорил остальное. — Почему не проверил, сколько раз я тебе твердил, не принимай машину, пока не проверишь.

— Что там стряслось? — спросил начальник смены.

— Поломанную машину ему всучили. Переключатели целиком надо менять.

— Ты почему машину не проверил?

— Как проверяй, начальник, я приходи, чиловек спрашивает, как твой отца, братья твои как поживают, закурить мне давант, в глаза смотрит, улыбается, как же я проверяй, рази человек не доверяй должен, а?

— Доверяй, доверяй, вот и доверялся, видишь, провел он тебя, теперь поди часа два проковыряемся, весь цех загорать должен и все из-за твоего доверяй-доверяй.

— Неправда, начальник, он мне не обманывай. Машина потом поломай, я виновата.

— Не морочь мне голову! — разозлился мастер.

— Ты что, не видишь, чем он поломанную коробку закрепил, а? — мастер протянул Рашиду два металлических болта.

— Кто был в первой смене? — спросил мастера начальник смены.

— Брегвадзе.

— Который это, Брегвадзе?



- Рыжий верзила такой.
- Тот может, проныра этакий.
- Не проныра он, начальник, нельзя так про чловека

вори, грех это.

— Эй, парень, ты бы лучше себя защищал, а ему твоя защита до лампочки.

— Что хочешь со мной делай, начальник, хочешь шегони. Только машина сейчас поломался. Тот человек неправду не мог говори.

Мастер развел руками — поди, мол, етолкуй этому чокнутому! Начальник смены махнул рукой и пошел прочь.

— Ты лучше мотай отсюда побыстрее, притащишь новую коробку, понял? Ну иди, иди, не то...

— Куда хочешь пойду, начальник, только один слово скажу...

— Никаких слов, вот где у меня твои слова сидят, лопнуть впору!

Через два часа машина вновь заработала, но Рашид был как в воду опущенный.

«Черт-те, что со мной стряслось! — бормотал Рашид. — Как я могу праверку-мраверку делать, когда человек тебе прямо в глаза глядит и улыбается. А как он о братьях моих говорил! Эх, эх, а начальник на него напраслину возвел, и пронырой еще обозвал. Это я машину запорол. Правда, может, она еще при нем забарахлила, но он наверняка не знал об этом, не заметил—и все. Да разве мужчина неправду скажет! А я вот ничего не сумел начальнику моему втолковать, это, наверное, потому, что ни грузинского, ни русского я толком не знаю».

В перерыв вновь затихла громадная фабрика. Вновь показались в окнах главного элеватора женщины, пристраивавшиеся с завтраком на подоконниках. Они с аппетитом уписывали завтрак за обе щеки и громко смеялись, поглядывая вниз, в сторону Рашида. Но Рашид даже не удосужился развязать свой пестрый сверток — все едино кусок не пошел бы в горло. Согнувшись в три погибели, сидел он возле своей машины, и одна-единственная мысль сверлила его мозг:

«Не мог мужчина неправду сказать, не мог. А вот я никак этого втолковать не сумел начальнику. Эх, вся беда в том, что ни грузинского, ни русского я толком не знаю».

Перевод Ушанги РИЖИНАШВИЛИ



В конце прошлого года в Грузии проходили Дни советской литературы. «Дни советской литературы в Грузии, — сказал в своей речи на торжественном открытии первый секретарь ЦК Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе, — это особые дни, дни особого торжества идей социалистического интернационализма и советского патриотизма, ленинской дружбы и братства наших народов и наших литератур».

Более 150 литераторов приняло участие в этом празднике. Семь дней в Грузии, в ее городах и селах звучали стихи на языках братских народов. Праздник позади, а редакция продолжает получать новые стихи от участников этого литературного форума. Некоторые из них мы и предлагаем вниманию наших читателей.

Петр ВЕГИН

## ПЕСНЯ ВО ИМЯ ГРУЗИИ

### МОНЕТЫ ТБИЛИСИ

Этот город — настоящий нумизмат,  
как монеты его жители звенят.

О, не зря по приказанию царей  
отчеканивали профили людей!

Бронзой, медью, золотом хвастает карман!  
А Ладо Гудиашвили — серебрян...

Береги их, потеряешь — не простишь,  
никакой ценой потом не возвратишь.

Знаю, жгут тебя потери в сотни ран:  
где Паоло, где античный Тициан?

Как же ты не углядел, не уберег? —  
покатились, перепрыгнули порог,

пóд пол канули, блеснули в темноте  
две редчайших... Боже, если б только две!

Ночь-воровка, замусоленный кошель,  
да не будет ей отныне барышей,

да ни меди ей, ни злата, ни серебра!  
...До утра дожить бы только, до утра...



## ПЕРВЫЙ УРОК ГРУЗИНСКОГО

Погрузиться в твои сады,  
в твою горную речь погрузиться.  
Я хотел бы сказать по-грузински,  
да не знает язык остроты.

Имя хлеба да имя воды —  
начинаем урок бесконечный.  
Заколдууй мне, картули, колечко  
от вихжей на радость беды.

Разрешасшь горячим губам  
прикасаться к словам златоустым —  
я за это тебе по-русски  
троекратно с годами воздам!

И светлея со словом твоим,  
я твержу тебе несправимо:  
Жизнь — всего лишь Любви псевдоним.  
Но люблю тебя без псевдонима.

Пусть вода остается водой  
и слова остаются словами,  
только что ни случилось бы с нами,  
пусть душа остается душой!

Здесь кончается первый урок  
и уста произносят несмело  
то, что знает душа назубок:  
— Шени чириме, Сакартвело!

## НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

О, если бы с этого танца  
снять гипсовую маску!

Не это излишне —  
танцы  
не умирают.

Музыка  
моментально  
выхватывает из толпы  
лучшего из танцоров,







## ГАЛАКТИОНУ ТАБИДЗЕ

Имя твое над нами — глас, отворенный звездам!

Пламя свечи в Сионе

Сдует мальчиший возглас...

Имя твое над нами — нет нежнее платочка:

Вышила звездами мама

Инициалы сыночка...

Имя твое над нами —

точно ночной подрамник:

Кутеж огней городских

Похожий на виноградник...

Имя твое над нами —

точно без дна бутылка,

Сверкающая сквозняками

От пяток и до затылка!

Имя твое над нами —

звон вселенской витрины.

В которую заезжают

Полночные лимузины...

Имя твое над нами —

избавлено от перевода,

Где каждый с ужасом чувствует:

Непереводима свобода!

Имя твое над нами —

отверзто... и ломит уши,

Когда покидая тело

В космос восходят души.

Имя твое над нами —

крышей забытого храма,

Где вечнозеленый бог

Любит проснуться рано...

Имя твое над нами —

полдень, разбитый камнем,

Который бросил мальчишка,

Чтоб звезды увидеть... Амен.

## ТБИЛИСИ

Покинув лес многоколонный,  
 С холма бегом спускаясь вниз,  
 Из-под руки смугло-зеленой  
 Взглянул веселый Дионис.  
 И убегает в сумрак смежный,  
 В смешенье лестниц и окон,  
 Где голос дудочки небрежной  
 Обвил узорчатый балкон.

Дыши, здесь можно не томиться,  
 Но не выведывай — куда?  
 Покуда день горячий длится  
 И верит трезвая вода,  
 Пока стаканы жажда нижет,  
 Прохладу пестует подвал,  
 Пока привычной страстью дышит  
 Невозмутимый карнавал.

Прими, не называй отравой,  
 Вглядись в соседа своего,  
 И на вопрос его лукавый  
 Засмейся — только и всего.  
 Мальчишка, видно, тайну знает,  
 Но промолчал — и сам не рад,  
 И в пряди длинные свивает  
 Кудрявый этот виноград.

## ДЖВАРИ

Не вспомнить мне, где этих рек источник,  
 Но наконец, сливая жизнь и смерть,  
 До хруста выгнув страшный позвоночник,  
 Четырехзвучье выдохнула твердь.

Как сон дневной, пусты твои дороги,  
 И мы внизу едва сморгаем пот,  
 Где ласково и самовластно: «Го-о-ги!»  
 На все лады любой балкон поет.

И здесь в любом проснется жизнь другая  
 И с головою захлестнет не раз,  
 Скакалкой скачет улица тугая,  
 Не отрывая быковатых глаз.

И для кого, и нервно и вполсилы,  
Пробормочу: «Все это — звук пустой —  
Твой Джвари вымерз, и твои могилы  
Покроет век асфальтовой пятой.



Ты так же дорог мне и столько же не нужен,  
Как тот, другой, над стройною Невой.  
Ты — жизнью жив. Твой воздух тленный душен.  
Тбилиси нежный! Сжался надо мной».

## МАРТ

Все говорят,  
Что смерть — разлука,  
А я скажу —  
Разлука это смерть.  
Как бледный воздух влажностью измучен,  
Стоит, едва переводя дыханье,  
Водою студит черные виски,  
В глубокий полдень губы окунает.  
Но город —  
Словно каменный кувшин—  
Наклонишь — камешки просыплются на снег,  
И винный запах — трезвым ожиданьем,  
Оглохшей памятью пустых подвалов  
Дохнет  
И вдруг гармошкой губной  
Грустней веселого  
Откликнется — я тут!

Я говорю:  
Как этот воздух груб.  
Оглядка льда  
И легкость голубятен,  
И паруса высоких этажей  
Стоят поверх стремления дневного,  
Перекликаясь,  
Для чего же я  
Вся помертвела, словно этот март,  
Худой и страшный, в ледяной постели,  
Отогревая пальцы  
Еле-еле.

## МЕЛЬНИЦА В ХОШАРИ

Ой, в Хошари мельница есть,  
Мелко мелется там пшеница.  
Три у мельника дочери есть,  
Кто из нас по ним не томится?  
Утром выйдут они к реке,  
Чтобы вымыть белые лица,  
Улыбнутся, и свет вдалеке  
На высоких снегах отразится.

## ЧОНГУРИ

Помоги мне, чонгури, мой друг,  
Спеть о том, что нету покоя,  
Что немало печалей вокруг,  
Много их и у нас с тобою,  
И заносит тяжелый недуг  
Длань свою над моей головою.

Я не помню, какого числа  
Я на сей земле появился,  
Где судьба меня злая ждала,  
И поныне я с ней не смирился.  
Жаль, что смерть меня не взяла,  
Жаль, я сам умереть не решился.

\* \* \*

Горько, мама, когда не спится,  
Грусть свербит меня, молодого.  
Хуже этого — ждать, казниться,  
Ту, что ныне обманет снова.  
Много хуже любить, томиться,  
Быть не в силах сказать и слова.  
Но и худшее может случиться:  
Та, что любишь, любит другого.

---

Из сборника, подготовленного к печати Главной редакционной коллегией по художественному переводу и литературным связям при СП Грузии.

Умереть бы мне хоть сейчас  
 Под чинарой в саду у нас,  
 Чтобы листья в печальный час  
 Падали.  
 Чтоб красавица каждый раз  
 Приходила, чтоб слезы из глаз  
 Падали.



## НЕТУ ВНИЗУ ВОДЫ, ГОВОРЯТ

Нету внизу воды, говорят,  
 Тучи вверху ни единой.  
 Нету в полях хлебов, говорят,  
 Горят, говорят, долины.  
 Все говорят говорят, говорят —  
 Женщины и мужчины:  
 Головы рубит султан, говорят,  
 И тем, что ни в чем не повинны.  
 Русский царь идет, говорят,  
 И ведет за отрядом отряд.  
 Приободритесь, грузины.  
 Хлынут солдаты сюда, говорят,  
 Как вода, сквозь разъем плотины.  
 Враги на Гумбре-реке, говорят,  
 Встретятся у середины.  
 С ясного неба польется кровь,  
 Словно вода из кувшина.

\* \* \*

Масть черна твоего скакуна,  
 Сбруя тоже черного цвета,  
 Сам ты черен, и чоха черна,  
 Что на плечи твои надета.  
 И кольчуга твоя холодна  
 И черна от дневного света.

## КРАСНО ЯБЛОЧКО

Красно яблочко взять хочу,  
 Ствол трясу, но падает белое,  
 Взять тебя мне не по плечу,  
 Как ни плачу я, что ни делаю.

## ВМЕСТО МЕНЯ

— Смерть зовет меня, молодого,  
 Мама, выйди вместо меня!

— Ты отца попроси родного,  
Твой отец тебе ль не родня?

— Мой отец, я тебя заклинаю,  
Выйди к смерти, меня спаси!

— Есть сестра у тебя родная,  
Ты сестру свою попроси.

— О сестра, доброта твоя свята,  
Выйди к смерти, смерть меня ждет.

— Попросил бы ты лучше брата,  
Пусть пойдет он, тебя спасет.

— О мой брат, я дошел до края,  
Выйди к смерти, меня замени!

— У тебя есть жена молодая,  
Есть немало другой родни.

— О жена моя дорогая,  
Выйди к смерти, меня любя!

— У тебя есть любимая, знаю,  
Пусть заменит она тебя.

— О любимая, ради бога,  
Выйди к смерти, останусь я жив!

— Мой любимый, где к смерти дорога?  
К ней я выйду, тебя заменив.

## Я МОРЯ-ОКЕАНЫ ПРОПЛЫЛ

Я моря-океаны проплыл,  
Повидал все земли на свете,  
Но красавиц, подобных тебе,  
Я покуда нигде не встретил.  
На заутренней службе тебя  
Увидал я вчера во Мцхета.  
Ты стояла с дитем на руках,  
Богородица в утреннем свете.

\* \* \*

На застолье гляжу я в дверь:  
Пьют, а петь — не поют, ей-богу.  
То ли траур у них теперь,  
То ли петь они и не могут.

\* \* \*

Ой, красавицы, выходить  
За охотников вам не гоже:  
Суждено им с горами делить,  
А не с вами брачное ложе.



\* \* \*

Жну пшеницу тупым серпом,  
Я точу его — он не точится.  
Ой, не ведают мать с отцом,  
Что не жать мне, а замуж хочется!

### ЭЙ, КРАСАВИЦА...

Эй, красавица, сядем сейчас  
У скалы, где ручей струится,  
Пусть прохожий увидит нас —  
Красоте земной подивится.

### ЧТО ТЫ, СЕСТРИЦА...

Что ты, отважного брата сестрица,  
Перебирая над ситом пшеницу,  
Исподволь смотришь в окно?  
Сыну отца твоего суждено  
Не скоро с войны воротиться.

### Я БОЛЬНА

Я больна, приди, мой жених,  
Пусть лекарство, тобой принесенное,  
Боль уймет страданий моих;  
Дай воды мне, она, подслашенная,  
Скрасит жизнь, пока я в живых.  
На кладбище с толпою родных  
Брось на гроб мне землю взрыхленную,  
А позднее тропой потаенною  
Ты ко мне приди, мой жених,  
И обрывки кудрей своих  
Брось на сердце мое обожженное.

### ЭТОТ МИР

Этот мир для одних — добродей,  
Для других он — скупец и скряга.  
Жизнь сладка, но для бедных людей  
Только смерть — воистину благо.  
Что с того мне, что мир велик.  
Если вольно не сделать шага.  
Мне надежда — лишь старый бык  
Да мотыга моя, да отвага.



\* \* \*

— Соловей, ты поешь все грустней,  
Почему, объясни на милость?

— Я от милой далек, а у ней,  
Может, горе теперь случилось.

## СТАРОСТЬ

Шуршат подошвы старых людей,  
Их палки стучат кривые.  
Старость людская, ты тяжелей,  
Чем скалы эти седые.  
Старик говорит, но мудрых речей  
Не слушают молодые.

## ЖИЗНЬ

Не ты ли меня весь век  
Настоем горьким поила?  
Моими слезами весь век  
Не ты ль моря солонила?  
Покой отнимала весь век,  
А в гроб меня не сводила?

Перевод Наума ГРЕБНЕВА

# ГОСТЬ

## Р о м а н

Я вышел на перрон и закурил. Пути были свободны. Только вдалеке, на боковых ветках стояли пустые составы. На вокзале меня почему-то всегда охватывало необычайное настроение. Он представлялся мне мостом, ведущим к природе и еще к чему-то неизвестному... У края перрона стоял почтовый вагон, туда грузили мешки. По ту сторону путей, у кирпичной сторожки, с жаром плясали двое деповских рабочих, а третий отбивал ритм ладонями по деревянному столу, будто играл на доли. Рабочие плясали кинтоური<sup>1</sup>, особенно лихо отплясывал один из них, густоволосый парень в майке. Столпившиеся у багажного отделения железнодорожники, хохоча, подбадривали танцоров:

— Давай жми, а ну, впрысядку!

Но те не обращали внимания на крики, скорее всего даже не слышали их, они плясали для себя, а не для публики. Глядя на них, и я развеселился. «Как пестра жизнь, один слезы льет, другой тут же радуется», — думал я, увлекшись зрелищем. А может, жизнь без душевной черствости вообще невозможна? Если счастье означает забвение горя, а забвение горя — бессердечность, то, значит, порой бездушные необходимо! Эти танцоры, судя по всему, были счастливы, во всяком случае, в данный момент, да и я получил удовольствие. Может быть, и в тот вечер они так же весело провели время. Эти работяги, вероятно, жили где-нибудь поблизости, в Нахаловке или на Лоткинской горе, а может, на Авлабаре, где все в округе знакомы между собой, где маленькие домишки выходят в уютные дворики с общим водопроводным краном и щелистыми уборными в углу. Соседи давно сжились друг с другом и, как близкие родствен-

<sup>1</sup> Старинный танец кинто, очень бойкий и озорной.

ники, знают всю подноготную друг о друге. Вечерами мужчины собираются во дворе, один несет хлеб, другой — сыр, третий — зелень, четвертый — лобно или что-то еще, соберут деньги и пойдут в ближайший погребок кого-нибудь из своих сыновей. Мальчонку лет тринадцати-четырнадцати, тот возьмет у матери сетку, сложит в нее пустые бутылки и с удовольствием побегит за вином, зная, что, если останется сдача, один-два двугривенных, никто не спросит с него, и он истратит их завтра на семечки или на мороженое. Мужчины выпьют, закусят тем, что разложено на столе, пожелают друг другу удачи, говоря: «Хороший сосед лучше родича!». И чем больше пьют, тем громче становятся голоса, хохочут над анекдотами, поругиваются, дькают на детей: «Марш отсюда!». Могут даже сцепиться, но тут уж вмешаются женщины, утихомят мужей и в конце концов разведут их по домам. А утром те встанут рано, кое-как очухаются с похмелья и — целый день проведут на работе...

Я любил этих людей. Много приятных часов провел я в компании мастеровых, простых рабочих и служащих нашего квартала. Может быть, я ошибался, но мне иногда казалось, что они живут более правильно, имея простую и ясную цель. Конечно, и среди них попадаются прохвосты и лодыри, но в массе они нравились мне. Они не мучались лишними мыслями и поэтому выглядели более естественными, словно ближе стояли к природе. Забота у них одна — добыть ежедневно на кусок хлеба, обеспечить семью, вырастить детей. Останется лишек, выпьют в кругу друзей, потому что без элементарных развлечений жить трудно. Они ни с кем не соперничали, никого не пытались удивлять блеском или размахом, ибо прекрасно понимали, что щедрость рук не всегда означает щедрость души. Развлекались они скромно, как умели. Старались трудиться и жить как подобает, а это великое дело: если ты хочешь, чтобы вокруг тебя все было хорошо, ты сам в первую очередь должен быть хорош. Как сказано в басне у Саба<sup>1</sup>, только кукареканьем, лаем да ослиным криком деревню не построишь. Кто искренне желает переделать и улучшить мир, сначала должен взяться за себя. Только так добывается добро, потому что доброта и честность каждого из нас в конечном итоге служат порукой всеобщему благу. Иного пути к добру и справедливости нет...

Тем временем поднялся ветер и вернул меня к действительности. Я посмотрел на небо. Горы от вершины Удзо до Мтацминды были окутаны свинцовыми тучами. Может быть, там уже шел дождь. В городе ведь редко обращаешь внимание на небо, и перемена погоды обычно застает тебя врасплох. Я ощутил голод и решил зайти в привокзальный ресторан, а после обеда, если не будет дождя, побродить по городу или заглянуть в Муштаид. В дни моего детства в этом саду стояла высокая деревянная вышка и с этой вышки ребята прыгали с парашотом. Однажды и дядя Арчил прыгнул. Мы с дедом стояли

<sup>1</sup> Сулхан-Саба Орбелиани.

внизу. Держась за его руку, я со страхом и восторгом слетел, как летит вниз мой дядя. Сжав ноги и ухватившись за лямки парашюта, он медленно опускался вниз. Внизу же, на земле, были насыпаны опилки. Все это было еще до войны. Тогда я воспитывался у деда. Дедушка почти каждое воскресенье водил меня в Муштаид. Сажал в детский поезд, а сам оставался на платформе. А я, возбужденный волшебным путешествием, с величайшим вниманием разглядывал из открытого вагончика маленький сад, который тогда представлялся мне огромным. Иногда мы с дедом присаживались у раковины летней эстрады в центре сада и слушали духовой оркестр. Но грохот оркестра скоро надоедал мне, и часто, оставив деда в одиночестве, я убегал играть со сверстниками, а однажды, проносясь по глухой аллейке, заметил целующуюся парочку. Эта картина потрясла меня...

Медленно шел я по перрону. На первом пути стоял горький поезд, на крытой платформе суетился народ. На подножке такого поезда когда-то ехали я с Нуну, случайной попутчицей, которая после того как в воду канула, и я ничего не мог о ней узнать. Но лицо этой девочки живо вставало перед глазами, то есть она не пропала бесследно. Неужели и вправду ничто не пропадает бесследно? — я достал сигареты. Может, быть, и я невзначай запомнюсь кому-нибудь постороннему, о чьем существовании не имею ни малейшего представления, и западу в чью-то душу? Если это так, тогда надо постараться прожить жизнь как можно достойнее, чтобы оставленный след не вызывал неприятных воспоминаний. Я остановился, закурил, затянулся. А стоит ли заботиться о воспоминаниях, если со смертью оборвется все, что связывает тебя с этим миром?

Сигарета погасла, я остановился и снова закурил. Сыщется ли на свете человек, который не хочет, чтобы о нем вспоминали в веках и обязательно с теплым чувством? Может быть, это бессознательное стремление к бессмертию, подсудная, неосознанная жажда сохранить связь с землей? Если это так, тогда и искусство — своеобразное стремление к бессмертию и богу, потому что его цель — вдохнуть душу в нечто, лишенное души. И само творческое вдохновение больше похоже на некое божественное озарение, на постижение и выявление в себе существующего и предрешенного свыше. Художник, творец — лишь орудие, долженствующее провести через свою душу продиктованное свыше. Поэтому удивительна наивность и заблуждение некоторых лиц, гордящихся и красующихся своим даром. Сколько раз Каха говорил, что он испытывает неловкость, когда его при посторонних называют художником. «Конечно, я художник, — продолжал он развивать свою мысль, — но не требовать же на этом основании особого уважения к себе? Когда тебе оказывают почести, это обязывает и ограничивает свободу. Кроме того, я здесь ни при чем, я никогда не знаю наперед, что делаю, что у меня получится. Ни одно произведение не принадлежит своему создателю целиком, многое зависит от случая, от стечения обстоятельств, от впечатлений, полученных в процессе работы, от какого-нибудь события, слу-

жившегося в твоей жизни, от случайно увиденного и услышанного. Может случиться любое, что заставит тебя изменить обдуманному раньше, пробудит совершенно новую, до сего момента неизвестную мысль. А это значит, что произведение не подвластно тебе целиком, зависит не только от твоих способностей, но и от множества внешних факторов. Иногда мне кажется, будто я работаю под чью-то диктовку, будто кто-то водит моей рукой, помимо воли тащит меня куда-то, заставляет наблюдать нечто такое, что каким-то образом впоследствии должно выразиться в моей работе. Стоит ли поражаться дару, если ты сам только исполнитель?»

Возможно, Каха был неправ, но, кто знает, может быть, каждому истинному творцу следует именно так относиться к своему делу? Какова цена сочинителю, который настолько ошарашен вышедшем из-под его пера, что готов на всех перекрестках трюбить о собственной исключительности? Умному человеку не подобает кичиться умом, талантом или физическим совершенством, потому, что все это — случайная милость судьбы, а хвалиться милостью — невелика честь. Что может быть лучше, когда в любом достойном человеке, будь он мясником, сапожником, прославленным ученым или политическим деятелем, ты видишь своего брата, ровню. Кем бы ни был ты сам, чувство равенства есть признак величайшей внутренней свободы, истинного аристократизма духа. Знания и талант даются человеку не для него одного, они даются ему и для других, ибо знания, хранимые лишь для себя, — мертвый клад. Пожалуй, в этой жизни достойна похвалы одна труднейшая и редчайшая способность жертвовать собой, забывать себя, но кто наделен ею, тому и в голову не придет гордиться этим...

Неприятно было курить на голодный желудок, я выбросил сигарету на рельсы. Горийский поезд ждал отправления, и на платформе по-прежнему кишел народ. На память пришла наша поездка в Мцхета и Цотнэ, который тогда был вместе с нами. ...Волнистые светлые волосы обаятельная, ласковая, такая добрая улыбка...

Какая-то пожилая тетка с чемоданом чуть не сбила меня с ног и недовольно вскинула глаза. Я не считал себя виновным, но тем не менее извинился.

— Подавись своим извинением, чуть ногу мне не сломал, — с зестафонским акцентом раскричалась женщина, поставила чемодан и принялась тереть колено.

— Я не заметил вас, — попытался оправдаться я, хотя виноват был не я один.

— Чтоб тебе света белого не видеть! — взъелась она на меня.

Это было уже чересчур. Не говоря ни слова, я пошел прочь, бессмысленно улыбаясь, как всегда, когда я злюсь. Каждый нерв в теле дрожал от гнева, я готов был разорвать эту вздорную бабу. Покинув вокзал, я пересек площадь, безотчетно вскочил в пустой трамвай и, только сидя у окна, вспомнил, что собирался пообедать в ресторане, а потом прогуляться по Муштаиду, но настроение было отравлено, не хотелось вообще выходить из вагона и я остался, еще раз окинув взглядом люд-

ную площадь и высокие колонны вокзала. Входили пассажиры, занимали места, вагон постепенно наполнялся. Потом травмой медленно тронулся. Я все еще пережевывал незаслуженную обиду, отрешенно уставясь в окно. Солнце скрылось, дома посерели, неприятный ветер пронесся по улице, запахло дождем. Продавцы галантереи утаскивали в магазин товары с лотков. На высоком балконе одного из новых зданий стоял юноша с гитарой и яростно колотил по струнам. Поскольку он был совершенно один, я решил, что он немного не в себе. Коли уж такая охота, сидел бы себе в комнате и играл в свое удовольствие. Трамвай свернул в полутемную от раскидистых лип и акаций улицу и остановился. В вагон быстро поднялись люди, и он покатил дальше. Среди вошедших оказался слепой нищий в черных очках. Маленький мальчик - поводырь вел его по проходу, а слепец декламировал неизвестные мне русские стихи. Я опустил в его шапку двугривенный. Мрачно оглядывал я старинные дома, стоявшие по обеим сторонам улицы, странные дома, совершенно не похожие друг на друга. Одни были приземисты и неуклюжи, другие — высоки, с лепными украшениями, отнесенными ныне в разряд архитектурных излишеств. Передо мной проплывали дома с балконами и без балконов, а за железными воротами в глубине дворов виднелись галереи, веранды и деревья. На всем здесь лежал отпечаток старины, и мне снова вспомнился Цотнэ. Почему? И тут до меня дошло — он жил именно на этой улице! Перед глазами возник длинный, широкий балкон двухэтажного дома. С балкона виднелся двор, вернее, небольшой садик, разбитый в углу двора. Сколько раз мы сжиживали в том садике, беседовали, спорили, балагурили. Иногда Цотнэ играл на гитаре, подпевая низким голосом. И сейчас въявь слышал я его чуть хриловатый низкий голос...

Медленно полз трамвай, и, покачиваясь вместе с ним, я продолжал разглядывать дома и прохожих.

...У него был слегка хриловатый низкий голос, таким обычно поют втору. Волнистая светлая прядь волос всегда падала на лоб. Когда он смеялся, глаза его уморительно щурились, и в такие минуты невозможно было не любить его. Славный был он, Цотнэ, добрый, простодушный и гордый. Душевное благородство в известной степени, видимо, является следствием наивности: какой-нибудь пройдоха, умеющий вывернуться из любого положения, который взирает на жизнь не с воодушевлением ребенка, а с насмешливой улыбкой, если можно так выразиться, скептика-дионисиста, не может быть благородным до конца, хотя и может притвориться таковым. Цотнэ же притворяться было ни к чему. Мне кажется, что именно это рыцарское наивное благородство и погубило его. Будь он немного потрусливей, похитрей и поизворотливей, он бы понял, что ни в коем случае не стоит заступаться за ту незнакомую девушку, которую после киносеанса били на улице какие-то подонки за нежелание принять их ухаживания. Все равнодушно смотрели на эту мерзость, эпоха рыцарей давно миновала. Здоровенные парни — ровесники Цотнэ — издали наблюдали за расправой. Уже в этом юном возрасте ими руководил

унаследованный от родителей инстинкт самосохранения и осторожности, в данном случае — рефлекс малодушия. Только Цотнэ вмешался, заступился за беспомощную девушку и вступился за это жизнью. Через две минуты он уже валялся на земле с пронзенным сердцем, а убийцы с окровавленными ножами в руках беспрепятственно проложили себе путь сквозь безвольное, разуверившееся во всем стадо зевак и скрылись. Я даже лицо той девушки помню. Она приходила на каждую панихиду и горько плакала в углу, потому что считала себя виновницей гибели Цотнэ.

— Не убивайтесь так, милая, — сказал ей дядя Ираклий, отец Цотнэ, — вы здесь ни при чем, мой сын не мог поступить иначе.

Да, иначе он действительно не мог поступить. Может быть, немного бесчестности не повредило бы ему, но некоторые рождаются с высоким понятием чести, которая для них — врожденный инстинкт. Порой такие люди сознают всю невыгодность этого инстинкта, но не могут преодолеть себя и нередко остаются в чувствительном проигрыше.

Но эту невыгодную порядочность, благородство я все-таки тысячекратно предпочитал выгодной непорядочности некоторых, осмотрительности и осторожности. Я очень любил семью Цотнэ. Ни разу не помню, чтобы дядя Ираклий вошел в комнату сына, предварительно не постучавшись и не спросив, не помешал ли он. Как равный с равными беседовал он с нами. Его присутствие нисколько не стесняло нас, он был старшим только по возрасту, а в остальном — наш ровесник и друг. Он знал все наши тайны, кому какая девочка нравится, кто как учится, кто о чем мечтает, и никогда не лишал нас дружеских советов и помощи. Хотя он был педагогом по профессии, в его наставлениях не проскальзывало и тени менторства, поэтому мы с радостью прислушивались к его словам. Он был настоящим товарищем и сыну, и его друзьям. В этой семье мы с Кахой отдыхали душой, но после смерти Цотнэ мне было тяжело видеть его родителей, и постепенно я отдалился от дяди Ираклия и тети Нуцы. Разумеется, это было малодушием с моей стороны. Внезапно я встал, пробрался по узкому проходу к дверям и остановился у входа. Трамвай еле тащился. Медленно уплывали назад дома, окна, запыленные деревья. Когда наш вагон поравнялся с домом Цотнэ, я спрыгнул на тротуар.

Осторожно приоткрыл я ворота. Что я скажу им, как они встретят меня после столь долгой разлуки? Я для них, наверное, стал совсем чужим. А вдруг не узнают? — кольнуло меня дурацкое сомнение, и я, несколько волнуясь, прошел в мощный булыжником двор. Фасадом дом выходил на улицу, где грохотал и трезвонил трамвай. Двор был пустынен и тих, но я помнил его многолюдным и голосистым, когда много лет назад мы с приятелями собирались здесь, вот под этой самой развесистой шелковицей, болтали и смеялись, собираясь идти куда-то всей компанией. Помню, как однажды Цотнэ приболел, и мы привели однокурсниц навестить его. Приход девушек очень обрадовал нашего больного. Мы с Важа стояли под шел-

ковицей и шутили, а на балконе, присев на перила, наигрывал на гитаре дядя Ираклий. Была весна. Шелковица была щедро усыпана темно-красными до черноты ягодами. Под деревом полно было паданцев. Дядя Ираклий сидел на перилах балкона в рубашке с короткими рукавами, из которых торчали его тонкие, худые руки. Сейчас не верилось, что когда-то он был активным членом спортивного общества «Шевардэни» («Сокол»), принимал участие в массовых гимнастических выступлениях. Не верилось, что в свое время он считался выдающимся теннисистом. Мне приходилось видеть снимки, на которых улыбающийся дядя Ираклий в белой спортивной форме стоял у теннисной сетки с ракеткой в руке. Глядя на эти фотографии, я замечал, что Цотнэ — вылитый отец, такой же мускулистый, поджарый, гибкий. Хотя сейчас они не походили друг на друга. Сейчас дядя Ираклий был лысый. В большой комнате, на видном месте висел писанный маслом портрет юноши, с первого взгляда — Цотнэ, но на самом деле это был портрет молодого дяди Ираклия, принадлежавший кисти его друга, польского художника Сигизмунда или, как его называл дядя Ираклий, Зиги Валишевского, выполненный в то время, когда Валишевский жил в Грузии и не стяжал еще славу большого польского живописца. Но в тот памятный день отец нашего друга не подходил уже ни на выцветшие фотографии, ни на портрет, хотя сохранил юношескую живость, выражающуюся, допустим, в том, что мог сидеть на перилах балкона, играть на гитаре и как ровня болтать с друзьями своего сына. Он, навёрное, гордился, что у него такой взрослый сын, и в этой гордости виделось что-то молодое, наивное. Помню, как он спросил с балкона, не найдется ли у меня закурить. В ту пору я еще не курил при старших, хотя давно уже пристрастился к табаку. По вечерам, выйдя из дому, я покупал пачку сигарет и, найдя на бульваре укромное местечко, где никто не мог разглядеть мою школьную форму, изводил сигареты одну за другой, чтобы до возвращения домой прикончить всю пачку.

...Когда дядя Ираклий попросил у меня закурить, я уже был курильщиком со стажем, но по-прежнему стеснялся старших. Впрочем, как на грех, совсем недавно, шествуя по улице с сигаретой в зубах, я столкнулся с дядей Ираклием. Изворачиваться теперь уже не имело смысла. Я взбежал на балкон и протянул ему пачку. В этот момент из комнаты вышла тетя Нуца:

— Ты что, курить начал?

— Начал, — ответил за меня дядя Ираклий, — и я начал в его возрасте, и, кажется, остался в проигрыше...

Именно тот день, как картина, воскрес в моей памяти. Потом задребезжал трамвай, сотрясая стены дома. Я пересек двор и нерешительно поставил ногу на ступеньку. Ничто не изменилось вокруг. На двери балкона по-прежнему выделялись большие черные буквы — ЦОТНЭ. Перед глазами возник маленький Цотнэ, затерявшийся в далеком прошлом вихрастый, голубоглазый мальчик в коротких штанишках, который неловкой рукой старательно выводил черной краской эти буквы на балконной двери. Я помнил его детство. Вот толстощекий бу-



туз в матросском костюмчике, перепачканными в чернилах пальцами оглаживает непокорный хохолок. Я невольно задержал шаг и оглянулся, словно надеясь увидеть его или услышать его голос, но... Но сейчас было тихо и пусто, и мне показалось, что не только двор опустел, а я сам, после стольких лет вернувшийся сюда, пуст и чего-то лишен...

Я поднялся по лестнице. Дверь в переднюю была распахнута, но там никого не оказалось. Наверное, все в большой комнате, подумал я и постучался. Послышались шаги. В переднюю вышел Каха. Он не удивился и не обрадовался, увидев меня тут, только сказал тихо и спокойно вместо приветствия:

— Входи.

Такая встреча не понравилась мне, я растерялся. Потом я заметил, что у Кахи было лицо усталого, расстроенного человека. Я не видел его несколько лет, и он показался мне заметно похудевшим. Волосы его поредели. Он был в синей рубашке, небрежно повязанный галстук съехал набок, из кармана черной кожаной с металлическими пуговицами куртки торчала сложенная газета. Он так равнодушно и отрешенно смотрел на меня, что я заподозрил неладное, и холодная тишина, царящая в квартире, тоже предвещала беду.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Дядя Ираклий умер.

— Что ты говоришь! Когда?

— Час назад.

— От чего?

— Болел.

Мне стало невыносимо горько, что я опоздал. Следом пришла смутная, неясная еще печаль. Проходя за Кахой в большую комнату, я невольно взглянул на увеличенную фотографию Цотнэ. Мне почудилось, что он с иронической усмешкой наблюдает за мной. Я отвел глаза и увидел кровать у окна с закрытыми ставнями. На кровати покоилось тело дяди Ираклия, небрежно накрытое простыней — виднелись голые, желтые, будто восковые ступни его ног. Чуть дальше, под портретом Цотнэ, сгорбившись, сидела на стуле тетя Нуца в черном платье, совершенно седая. Она увидела меня и узнала. Я нерешительно направился к ней, раздражаясь от шума собственных шагов. Тетя Нуца была сломлена горем, растоптана судьбой, и я ощущал стыд и неловкость, словно был в чем-то виноват. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Не говоря ни слова, она сжала мою руку, поглядела на портрет сына и несколько раз покачала головой, раскачиваясь при этом всем телом. Видимо, она и сейчас оплакивала Цотнэ. Слезы навернулись у меня на глазах. В душе заныла старая рана, которая, казалось, окончательно затянулась за эти годы, и я понял — раны, нанесенные жизнью, никогда не заживают совсем, они только затягиваются чуть-чуть. В глухой тишине комнаты я чувствовал, как неумолимо проходит незримое время, которое разводит нас в разные стороны и отдаляет друг от друга. Человек с самого начала знает, что он обречен, но это знание не отбивает у него охоту жить, и он покорно ожидает своей участи. За эту бессловесную покорность мне стало жалко всех,

кто был сейчас в этой комнате. Я сидел около тети Нуцы, держа ее руку в своей, а с улицы доносились грохот трамваев и приглушенный шум. Этот шум, свидетельствующий о жизни, кипящей снаружи, здесь, в этом замкнутом пространстве, напоминал озвученный мираж, ибо действительность для меня была в данный момент не там, на улице, а здесь, в этих четырех стенах. Все, что происходило снаружи, — трамваи и машины, люди, передвигающиеся в разных направлениях на этих трамваях и машинах, занятые своими будничными делами, — вовсе не было миражем, разумеется, это тоже было действительностью. Сам мир, зримый и незримый, был реальностью — незнание некоторых предметов или явлений отнюдь не означает, будто этих предметов или явлений не существует. А истину, видимо, ты должен создать для себя сам; общей для всех истины, вероятно, не существует, а если таковая и существует, то мы все равно по-разному воспринимаем и переживаем ее, потому что отмечены разностью судеб и своеобразием натур.

Долго просидел я рядом с тетей Нуцей. Нет, эта смерть не потрясла меня. Она только наводила на размышления. Находившиеся в комнате переговаривались вполголоса. Люди выходили и входили снова. Пришла какая-то женщина, долговязая, одетая в черное, словно монахиня, выразила соболезнование и села рядом с тетей Нуцей. У приходшей было суровое лицо, а может быть, оно казалось таким из-за острого подбородка и длинного носа. Видимо, немало горя хлебнула она на своем веку. Громким, резким голосом разговаривала она с тетей Нуцей. Возможно, она была глуховата. Тетя Нуца тихо отвечала ей. Разговор шел о болезни дяди Ираклия. Каха сидел у письменного стола и листал альбом. Все собравшиеся казались скорее приунывшими, чем скорбящими.

...Мне кажется, что смерть дяди Ираклия — все же большая потеря, хотя мир и человечество как будто ничего не потеряли, возможно, даже создали другого, ибо лишь для человека не существует возмещения смерти. Поэтому для меня невозполнима утрата дяди Ираклия. Цотнэ, Важа; я знал и любил их. И оттого, что я любил их, мне невозможно встать на объективную точку зрения и равнодушно воспринимать их уход. Кто знает, может быть, любовь препяствует познанию истины, может быть, для постижения ее необходимо полное хладнокровие? Но равнодушие не человечно. Тогда получается, что животное ближе к истине, человек отчужден, удален от природы, а разум подобен недугу, несущему страдания. Если так рассуждать, выходит, что мышление не естественно, естественна животная покорность, но разве современный человек может, сложив руки, покоряться судьбе? Разумеется, нет. Он не может существовать без любви и пусть даже тем самым приковывает себя ко всему преходящему, и если эта любовь отторгает его от истины, существующей вне и независимо от его сознания, я предпочту ту истину, которую создал он сам. Все это было как будто ясно, лишь с одним я не мог примириться — почему должен был так жестоко страдать человек, подобный дяде Ираклию, — добрый, чуткий, благородный? Если жизнь одинаково безразлична ко всем, тогда какой смысл в доброте и

благородстве? Как видно, жизнью все-таки управляют другие законы, другая истина, а не та, которую создал человек.

— Жизнь управляет рок, а не нравственные законы, так ли? — с улыбкой спросил я Каху.

Я встал и посмотрел на Каху:

— Так. Господь знает, что умствования мудрецов суетны, — добавил мой друг.

Я улыбнулся. Он еще не забыл свое любимое изречение. Опершись на перила, Каха сосредоточенно курил. Он выглядел уставшим и похудевшим. У меня почему-то заболела поясница, я положил руки на пояс и потянулся.

— Эх, не могу понять, как должен жить человек? — сказал я. Когда я произносил эти слова, передо мной встало лицо дяди Ираклия, я думал о распаде их семьи.

— Спокойно, — ответил Каха.

— А если покой невозможен?

— Значит, спокойная жизнь не твой удел.

— Только и всего?

— Пожалуй.

Потом мы с Кахой ушли и, несмотря на то, что давно не виделись, почти не разговаривали. Погода окончательно испортилась. Ветер как будто улегся, но черные тучи заволокли небо, заметно стемнело, хотя до вечера было еще далеко. В воздухе запахло дождем. Приятно было идти по притихшей улице, словно по тоннелю, образованному строем деревьев, сомкнувшихся в вышине ветви. Это был старый квартал. Не такой старый, как Ортачала, но и здесь, наверное, не сыщешь дома, построенного позднее девятнадцатого века. Сейчас бы фазтон да булыжную мостовую вместо асфальта, и ты — в минувшем столетии. Мы прошли этот уютный тихий и славный квартал, вышли на шумный проспект Плеханова и свернули влево. Прогремели раскаты грома, стемнело еще заметнее, а там и дождь припустил. Народ кинулся врассыпную. Мы спрятались в первом попавшемся парадном, где стоял запах теплой пыли, к которому сейчас примешивался проникавший с улицы запах дождя. Покрышки троллейбусов и автомобилей с шипением скользили по асфальту. Ветер заносил брызги дождя в подъезд. Мы отступили. Посвежело и потемнело еще больше.

— Самая погодка выпить. Сколько времени мы с тобой не чокались? — улыбнулся Каха.

— Я теперь редко пью, — попробовал отказать я.

— Сегодня все-таки выпьем, — мой друг так улыбнулся, будто от моего ответа зависела его судьба. Делать было нечего, я согласился.

Потом мы еще долго стояли и глядели на дождь. Когда он прекратился, пешком направились к метро. Лиловые сумерки шатром накрыли город, опустились на улицы, затушевав окрестности. Мы вошли в метро, Эскалатор медленно спускал нас в тоннель, а снизу непрерывным потоком плыл народ. В этой толкотне разговор не вязался.

Вышли мы на площади Руставели. Проспект и площадь были запружены толпой. Очереди у телефонных будок...

Каха предложил пойти к нему. «Захватим вина, посидим спокойно, побеседуем». Мы зашли в гастроном, купили хлеба, сыра, колбасы и вина и уже пробирались к выходу, когда столкнулись с немолодой, весьма почтенной и симпатичной дамочкой. Видимо, в молодости она была красива, да и сейчас выглядела недурно.

— А-а, мой юный друг, вместо творческой работы вы проводите время в кутежах? — дама насмешливо кивнула на бутылки под мышкой у Кахи. Мне показалось, что она обрадована встречей с моим другом. Стоило ей заговорить, и она словно сбросила десяток лет, настолько нежен и приятен был ее голос. Тончайший аромат духов струился от нее.

— Нет, калбатано Эленэ, ко мне приехал друг, которого я давно не видел... — и Каха представил меня.

— Вы тоже занимаетесь творчеством? — довольно иронично, но в то же время чрезвычайно дружелюбно осведомилась эта высокая, стройная дама, глядя мне прямо в глаза. Наряд ее отличался большим изяществом и вкусом. Слово «творчество» прозвучало в ее устах довольно насмешливо, но в то же время добрая улыбка раздвигала ее тонкие губы.

— Нет, калбатано.

— Чем же? — тень разочарования прошла по ее лицу.

— Я рядовой человек...

Но ответ мой, как я заметил, уже не интересовал мадам Эленэ, она, кажется, не слышала его.

— А вы знаете, что этот молодой человек, ваш друг, весьма талантлив, но беспробудно ленив? — спросила она.

— Мне он известен, как прилежный работник, — ответил я, глядя на Каху. Лицо его кривила вымученная улыбка.

— Дорогой Каха, мое мнение по некоторым вопросам было небезынтересно таким людям, как... — тут почтенная дама перечислила несколько известных имен, — а вы, невзирая на неоднократные мои просьбы, даже не соизволите показать свои новые работы. Отныне я ни о чем не попрошу вас!

— У меня просто не было времени, калбатано Эленэ!

— А для попок оно у вас находится? — перебила мадам, ее тон приобретал суровый оттенок.

— Это мой лучший друг. Мы не виделись несколько...

— Дружья никуда не денутся! Для меня, старой женщины, вы обязаны выкроить свободную минуту. Я высоко ценю ваш талант, убеждена, что вы далеко пойдете, о чем неустанно твержу всем, но надо же становиться серьезней. Вам же известно, как я люблю вас!

— Я постараюсь быть серьезным.

— Почему вы не изволили пожаловать в субботу?

— Не мог, к сожалению.

— Посмотрите, какой занятой человек! Когда же вы сойдете до меня? Очень не заноситесь, но несколько моих приятельниц желают познакомиться с вами.

— Я позволю вам.

— Буду ждать.

Мы с Кахой вышли из магазина, пересекли проспект и отправились к нему домой. На переходе какие-то люди взмахом

руки приветствовали моего друга. Я думал о встретившейся нам даме. Мне почему-то показалось, что она в чем-то упрекала его как любовница, но при этом так расхваливала, что я не мог понять, в чем тут дело. Может быть, она попрекает его похвалой? — подумал я, заинтересованный личностью этой женщины. Спросил я у Кахи и о том, что такого он совершил. Ничего особенного, — ответил он мне, — написал небольшую картину, а эта дама — искусствовед.

— Почему же ты не показываешься у нее?

— Обойдется.

— Она так любит и ценит тебя.

— Не верь, мой Тархудж, будто кто-то любит тебя, все заняты только собой и никем больше, — усмехнулся Каха. — Этой женщине я нужен для развлечения, а на мою жизнь ей наплевать. Если бы литературоведы, искусствоведы и прочие были рождены для искусства и литературы, они бы сами создавали что-нибудь. Ты видел когда-нибудь делового человека, который бы мог часами трепаться о своем деле?

— Не могу с тобой согласиться. Ценители тоже нужны. Кто-то должен жать возвращенное художником.

— Опять-таки художник, подобное познается подобным.

— Нет, не согласен.

— Твоя воля. Во всяком случае, я ни на грош не доверяю тому, кто не любит детей.

— При чем тут дети?

— Однажды эта дама пригласила меня к себе домой. Я привел своего мальчика, думая доставить ей удовольствие, что может быть приятнее ребенка? Представь себе, мой маленький сын действовал этой высокообразованной особе на нервы, ибо требовал внимания, мешая ей вести заранее обдуманную беседу о горних сферах поэзии и живописи. С того дня я ей ни на грош не верю. Что бы там ни было, за жизнь одного мальчика, я пожертвую всей мировой литературой, да и искусством в придачу, по мне, эта жизнь более значительна.

Мы дошли до дома Кахи, пешком поднялись на пятый этаж — лифта здесь не было. Пока Каха искал в карманах ключ и отпирал, мне почему-то вспомнилась Мери. Несколько лет назад она стояла здесь, перед этой дверью и, замирая, ждала, когда ей откроют. Сейчас я ничуть не сетовал на свою жизнь, но стало горько, что время это прошло.

Я вошел в знакомую комнату. Здесь тоже стоял свежий запах дождя. Солнце заходило где-то по ту сторону городской черты, за горными хребтами. На верхнем стекле окна догорал рубиновый отблеск обессилевших, немощных лучей. Неожиданная грусть легла на сердце Я явственно ощутил, что все имеет конец: моя юность — счастливая, как всякая юность, пролетела, погасла, как последние лучи заходящего солнца на оконном стекле. Я взглянул на портрет Важа и его ледоруб, висящий на стене. Давно я не был здесь, и мне вдруг показалось, что я вернулся на несколько лет назад, и те чувства, что я оставил здесь, снова ожили во мне. Я подошел к открытому окну, окинул взглядом знакомую улицу, мокрые блестящие крыши, мансарду противоположного дома. Те девушки, наверное,

закончили учебу. Конечно, закончили, и бог весть, где живут и чем занимаются теперь. Вполне вероятно, что осели здесь, в Тбилиси, не вернулись к родному очагу, потому что, как известно, любовь к нему постепенно сходит на нет, ее сменяется стремление к просвещению и так называемой цивилизованной жизни. Образование необходимо, хотя некоторые утверждают, что оно, дескать, приводит к размежеванию с природой, к отчуждению; открывая глаза на многое, оно, мол, вытравляет лучшие природные качества человека. Просвещение, мол, лишает людей непосредственности и чистой веры во многие явления жизни, оно зароняет семена сомнений, но разве так не должно быть? Споры нет, должно быть именно так! — решил я, оборачиваясь и наблюдая за Кахой, который уже выставил бутылки на стол и теперь рылся в шкафу. — Знание есть принятие действительности, трезвый подход к ней, в то время как вера, не опирающаяся на знания, сходна с бегством от действительности. Если подходить с такой точки зрения, тогда смело можно утверждать, что вера в бессмертие души вызвана страхом смерти. Это тоже своеобразное бегство, поиски убежища. Хотя, кто знает?!

Внезапно, словно почувствовав мой взгляд, Каха повернулся ко мне. Впервые после стольких лет разлуки мы остались с глазу на глаз. Он улыбнулся:

— Как ты, Гархудж? Что нового в твоей жизни?

— Ничего. А здесь как, что происходит?

— Ничего!

Каха вышел на кухню. Оттуда доносился звон тарелок и столовых приборов. Оставшись один, я оглядел комнату, порылся в книгах, беспорядочно наваленных на подоконнике: «Введение в индийскую философию», «Бхагавадгита», «Рамаяна» — мой друг не на шутку увлекся Индией. Я наугад вытащил из этой кучи толстую книгу и перелистал ее. Это оказалась какой-то том Достоевского. Книга внезапно напомнила мне о бедняге Нике. Ника — о Мери, и два случая, связанные с ними, всплыли из глубин памяти...

Как-то в студенческие годы мы с Никой забежали к Кахе. Дверь комнаты встретила нас открытой. Каха, свернувшись на тахте, спал в одежде. Он был пьян. На полу валялась раскрытая книга. Наш друг, видимо, пытался читать, пока не заснул. Это был какой-то роман Достоевского, не помню уже, какой именно.... Ника ухмыльнулся и с удивленным видом заявил:

— Если Достоевский нагоняет на него такой сон, крепкие же у него нервы, брат.

А однажды, именно в то утро, когда я впервые провел ночь у Мери и, выйдя от нее на рассвете усталый, протрезвевший, неспавший, снова возвратился в дом Важа, откуда несколько часов назад я последовал за Мери, там, среди ребят, бдвших около покойника, застал Нику. Я уселся в угол, не считая себя достойным находиться здесь, все казалось мне отвратительным и бессмысленным. Потом ко мне подсел Ника. Рассветало. Ночь таяла, и в комнате похолодало. Я вышел в коридор поку-

рнуть. Накурившись, я не вернулся в комнату, а отправился домой. Фиолетовый свет заливал безлюдную улицу. По дороге меня нагнал Ника, мы долго шли вместе, тогда-то он и сказал, что всегда предчувствовал преждевременную и трагическую гибель Важа. Я спросил почему. А он ответил, что есть люди, с рождения отмеченные печатью обреченности, они всегда выделяются среди прочих, словно им вечно недостает времени, словно они спешат жить, будто изначально знают, что конец их близок.

Я закрыл книгу и положил ее на место. Снова обвел комнату взглядом.

Пианино стояло там же, где и раньше, но комната казалась чужой. Исчезли ружье и патронташ. В одном углу лежали детские игрушки, там же у стены в беспорядке валялись Кахины рисунки и проекты. Платяной шкаф был передвинут. На стене прибавился портрет Кахиного сына. Ликующий бутуз смеялся во весь рот, показывая белые зубки. Когда Каха вошел в комнату, я спросил, где его домочадцы. Держа в руках мокрые тарелки и стаканы, он оглянулся на снимок, и на мгновение замер. Потом он отвел глаза от снимка сына:

— Жена развелась со мной, забрала сына и вернулась к матери. Третий месяц живу один.

— Что случилось?

— Разве поймешь?.. Всего понемногу... Не стоит говорить об этом. — Он расставил на столе тарелки и стаканы и снова повернулся к двери. — Не скучай, Тархудж. Поджарю картошку и вернусь...

Я оперся руками о подоконник. К карнизу была прибита полоса заржавевшей жести. Я глядел на блестящие крыши, на темно-синее пространство, усеянное точками света. Огоньки переливались и мерцали, как драгоценные камни на синем бархате. Из противоположного дома доносились звуки фортепьяно и чей-то пронзительный баритон. Владелец баритона обрабатывал голос: «а-а-а-а, э-э-э!». История Кахи огорчила меня, но я не особенно удивился, будто с первой же минуты понял, что дела его неважны. То унылое выражение лица, которое поразило меня сначала и с которым я вскоре свыкся, разумеется, было вызвано не только смертью дяди Ираклия, и сейчас мне казалось, что я сразу раскусил причину его подавленности. Странной была его женитьба... Он сидел в кино. В зрительном зале было душно, да и фильм показывали никудышный. Тот день, наверное, ничем бы не запомнился ему, если бы сидящая рядом девушка не потеряла сознания и ее мать не подняла истошный крик. В задних рядах тоже начался переполох. Каха машинально подхватил девушку, а невыдержанность истеричной матери настолько взбесила его, что он прикрикнул на нее: «Успокойтесь и не пугайте дочь!». Затем он принялся успокаивать девушку, лежащую на его груди: «Не бойтесь, дышите глубже, возьмите себя в руки». Пульс ее частил, и Каха, вероятно, желая приободрить, погладил ей руку. Девушка открыла глаза. Лицо ее неясно белело в темноте, но Каха чувствовал, как она благодарна ему, потому, что положила ладонь на его руку, словно полностью доверившись ему. Не исключено,

что близость и внимание моего друга были приятны ей. Она бессильно прошептала: «Спасибо, мне уже лучше». Зрители из заднего ряда успокаивали встревоженную мать.

— Если хотите, выйдем на воздух. Вы можете <sup>сказать?</sup> спросил Каха у девушки.

Девушка поднялась. Поддерживая ее за талию, Каха повел девушку к выходу, и она настолько доверилась незнакомому мужчине, словно только в нем видела опору, а шумное беспокойство и забота матери, суетящейся сзади, уже казались ей лишними и неприличными. Они вышли на свет из темного зала и тут впервые взглянули друг на друга. Наряд девушки был чересчур прост и безвкусен, она вызывала жалость, да и держалась застенчиво и скованно, как те люди, у которых нет веры в самих себя. Молоденькая, она походила на высохшую старую деву-недопрогу, что, вероятно, было скорее результатом замкнутой жизни, нежели внутренней стыдливости. Но так или иначе, Каха вежливо осведомился:

— Как вы теперь себя чувствуете?

Девушка с благодарностью ответила, что ей значительно лучше. Мать прижимала к груди свою побледневшую дочку, все еще не в силах успокоиться. Она производила впечатление некультурной женщины, вздорной и малодушной. Совершенно необязательно было поднимать такую панику. Потом девушка подняла на Каху благодарные глаза:

— Возвращайтесь в зал, не пропускайте фильм...

Произнося эти слова, она выглядела такой несчастной, что Каха не подумал последовать ее совету, а проводил их на улицу, поймал машину и отвез женщин домой. Он чувствовал, что они уповают на него, как на ангела-хранителя, и это, очевидно, льстило моему другу, ибо, что ни говори, каждому приятно снискать славу благородного человека. Женщины жили на Вере, в Вардисубани. В темном и узком тупике они остановили машину перед старым двухэтажным домом с небольшим садом на задворках. Девушку звали Рукайя, и это театральное имя показалось Кахе наивным и смешным. Возможно, он чувствовал себя благодетелем, во всяком случае, прощаясь, довольно покровительственно пообещал:

— Завтра непременно навещу вас, я уверен, что все обойдется, а сейчас отдохайте.

Обрадованная мать всячески благословляла Каху, не зная, как отблагодарить его.

— Приходите, дорогой, обязательно приходите, — твердила она.

Здесь необходимо сказать, что мой друг не был избалован женщинами и сам не придавал им большого значения. «Женщина нужна, когда ее нет, а когда она есть и с этой стороны все в порядке, тебя тянет совсем к другому, тебе уже не до женщин, а они требуют постоянного внимания и связывают по рукам занятого делом человека», — говаривал он. Не знаю, насколько искренним было его заявление, но он приводил в пример покорителя Константинополя, султана Мехмеда, который настолько увлекся одной красавицей из своего гарема, что в конце концов убил ее собственными руками, пото-



му что, кроме нее, ни о чем не мог думать и запустил важнейшие государственные дела.

На следующий вечер, вспомнив о Рукайе, Каха подумал, что в его визите нет никакой необходимости, но... (потом он все это объяснял судьбой) все-таки решил сходить и узнать, как ее самочувствие. Может быть, ей нужна помощь? К тому же, она, вероятно, обрадуется его приходу и вниманию, которым, по поверхностному заключению моего друга, девушка была явно не избалована.

Явившись к ним, он сразу понял, что его ждали, и остался весьма доволен, что выполнил свое обещание. Рукайя лежала в белоснежной постели и выглядела несравненно лучше вчерашнего. При виде Кахи глаза ее заблестели.

— Мы уже не надеялись, что вы пожалуете, — сказала мать, выдав то волнение или благоговение, которое они испытывали к своему благодетелю.

Каха присел на стул у кровати Рукайи и оглядел сверкающую чистотой комнату. На стене он заметил портрет девочки изумительной красоты и, поскольку надо было что-то говорить, спросил:

— Кто этот милый ребенок?

— Моя сестренка. Она умерла в двенадцать лет, — ответила Рукайя.

И Каха вдруг ощутил пронзительную жалость к морщинистой седой матери Рукайи и в душе выругал себя, что счел ее вчерашнее волнение за элементарную некультурность.

— Когда это случилось?

— О, давно, двадцать лет назад, мне тогда четыре годика было.

— Вы помните ее?

— Смутно, очень смутно.

Разумеется, это горе давно было оплакано близкими, двадцать лет для человека — опромный срок, но у Кахи возникло такое чувство, будто он именно сейчас присутствовал при семейном несчастье, и он сочувственно посмотрел на Рукайю.

Потом мать поставила на низкий столик у постели блюдо с фруктами и графинчик с каким-то цветным напитком. Разговорились, о вчерашнем, и выяснилось, что с Рукайей такое произошло впервые. Каха был склонен винить во всем жару и духоту, но, взглядевшись в монашеское выражение лица этой не такой уж неказистой девушки, подумал, что, возможно, не только духота явилась причиной обморока. У Рукайи были прелестные черты лица, но общее выражение его как-то скрадывало эту прелесть. Мать была глубочайше признательна Кахе: она так растерялась, что, не приди он на помощь, с ума бы сошла. Теперь чувства матери были полностью понятны Кахе. Он молча потягивал водку, разбавленную сиропом, и слушал. В разговоре постепенно выяснилось прошлое и настоящее этой семьи. Отец после смерти старшей дочери запил и скоро сгорел.

— Он был замечательный бухгалтер, — рассказывала мать Рукайи, — даже стихи писал, правда, не печатал их. А как он любил сцену! В театре души не чаял, в молодости сам выступал на сцене рабочего клуба. Там мы и познакомились. Я

тоже любила театр, — стыдливо, с виноватой улыбкой призналась она, вспомнив грехи девичества, а Каха подумал: «Вот откуда взялось это имя — Рукайя!»<sup>1</sup>.

Дед Рукайи был старый революционер, террорист. Работал вагоновожатым. За убийство царского чиновника был приговорен к повешению, которое потом заменили десятью годами каторги. Все десять лет провел в Сибири и только после победы революции смог вернуться в Грузию. Старые партийцы, если использовать терминологию матери Рукайи, секретари ЦК навещали его и относились очень уважительно.

— Ты в чем-нибудь нуждаешься, Папаша? — спрашивали, бывало, секретари ЦК. «Папаша» была его партийная кличка. А он отвечал: «Мне ничего не нужно, лучше позаботьтесь о стране». Ему назначили персональную пенсию и даже орден вручили. Старик жил скромно, вот в этой комнате. Потом и он скончался.

Когда беседа коснулась настоящего, Кахе поневоле пришлось рассказать о себе.

— Вы архитектор? О, у архитекторов много денег, — глаза старухи засверкали.

— Неужели? — Кахе стало смешно.

— Конечно, — убежденно кивнула она, — сосед одного из моих родственников так хорошо живет, что лучше некуда. Вообще, в том доме квартируют знатные люди — писатели-орденоносцы, художники, архитекторы... Они прекрасно устроены...

— Да, некоторые ничего, — сейчас Каха уже не мог сдерживать смеха.

— Вы пока еще молоды, у вас все впереди, и вы устройтесь, как они, — успокоила его мать Рукайя.

Потом Каха узнал, что Рукайя служит машинисткой в одном из министерств, а ее мать — воспитательница в детском саду. Беседа текла непринужденно, чему, вероятно, способствовала и водка с сиропом, которой усердно потчевали моего друга. Семья была простая, и Кахе нравилось здесь. Никаких претензий, никакого позерства, никаких высокопарных рассуждений. Они не корчили из себя интеллектуалов, занятых мировыми проблемами, как некоторые, кто на самом деле и пальцем не пошевелит, когда дело не касается их лично. Каха был доволен своим визитом. Он отдыхал душой в этой простой семье. А потом, когда хозяйка ненадолго вышла из комнаты, случилось вот что.

— Доктора не вызывали? — поинтересовался Каха.

— Нет, зачем же, мне уже хорошо. Завтра, наверное, встану.

— Вот и хорошо! Вам надо немного размяться, погулять, — советуя это, он был уже изрядно под градусом, и благие желания обуревали его. — Самое время и жениха сыскать, выйти замуж. Может быть, у вас уже есть жених?

— Нет, кому я нужна?

<sup>1</sup> Рукайя — героиня пьесы А. Сумбаташвили-Южина «Измена».

— Ну что вы! Я бы, например, счел себя счастливейшим человеком, если бы имел такую жену...

И только когда у девушки вспыхнуло лицо, до него дошло, что он такое ляпнул. Воцарилась неловкая тишина. Каха подумался, что его превратно поняли, но почему-то не отважился объяснить, что самого себя он прилеп просто так, для примера, в том смысле, что ее жених или будущий муж, по его предположениям, будет счастливейшим человеком, а сам он тут ни при чем. Мне кажется, что в данном случае его сгубила вера в судьбу. Он решил, что все выяснится само собой, что девушка сама поймет ошибку, а пуститься в разъяснения сейчас, значило причинить ей боль. Да, излишняя доброта порой стесняется прямоты и в конечном итоге не приносит добра. Почему Рукайя должна была докапываться до подтекста Кахиного предположения? Ведь он ясно выразился, что был бы счастливейшим человеком, если бы имел такую жену?.. Как еще она должна была понимать его слова, когда каждая женщина с величайшим удовольствием ждет и слышит подобные признания, кем бы, в какой бы форме, при каких бы обстоятельствах они ни говорились? Неловкая тишина затянулась. Потом появилась мать Рукайи. Каха поднялся.

— Вы уже уходите?

— Да.

Каха заметил, что Рукайя не поднимает на него глаз.

— Большое вам спасибо! Очень приятно познакомиться с таким отзывчивым молодым человеком, как вы!

— Что вы, что вы, калбатано!

— Очень, очень приятно!

И Каха удалился. Но перед уходом он попросил у девушки номер телефона, обещая позвонить и узнать, как она; или, может быть, ей удобнее позвонить самой, может, что-нибудь понадобится — и дал свой. Когда они обменивались телефонами, Каха заметил, что у Рукайи от волнения повлажнели глаза.

Он чувствовал, что звонить не следует, но, несмотря на это, все-таки позвонил через два дня. После посещения их дома пропасть бесследно показалось ему неудобным. В дальнейшем и этот звонок он свалил на судьбу, хотя сам создавал ее, но человек, самолично творя свою судьбу, и в этом видит одну из неизбежных особенностей рока.

Рукайя производила впечатление весьма и весьма порядочной девушки, во второй раз она даже понравилась ему, но ни капельки его не волновала. Эта девушка была обделена тем необъяснимым качеством, которое называется женственностью и которое даже не слишком привлекательную женщину делает желанной в глазах мужчин. Поэтому с Рукайей смело можно было устанавливать чисто дружеские отношения, но после того, как она превратно поняла слова Кахи, звонить ей не следовало. Не следовало потому, что теперь девушка, наверняка, ждала от него не просто товарищеского внимания, а чего-то большего. Но, невзирая на то, что все это было учтено им, он все-таки позвонил. Рукайи на службе не оказалось.

— Что передать? — спросили его.

— Передайте, что звонил такой-то.

На следующий день Рукайя позвонила сама. Вечером они встретились. На сей раз в ее туалете чувствовалось больше изящества и вкуса, волосы были тщательно уложены и она понравилась Кахе еще больше, но это не было тем пленительным чувством, которое заставляет терять голову, переворачивает душу, захватывает тебя, как порыв, как жажда, как нетерпение, когда кроме неодолимого и всепильного желания, ничего не остается в душе. Нет! Ничего похожего. Каха сохранял полное спокойствие. «Может быть, — хладнокровно размышлял он в тот вечер, — совсем не обязательно, чтобы тебя волновала женщина, с которой в дальнейшем ты собираешься строить мирную, спокойную жизнь? Ведь семья и создается для покоя? Может быть, не стоит следовать за страстью, за первым порывом, но с умом выбирать будущую спутницу жизни? Необходимо все взвесить заранее, ведь в конце концов, брак больше всего похож на обоюдное соглашение, на договор, где обе стороны берут определенные обязательства, и в таком случае полагаться тут только на чувства — значит затушевывать истинную суть дела, ибо чувства — всегда преходящи и ни один договор не заключается на основе одних лишь чувств. Здесь необходим здравый расчет, который послужит порукой, что и после угасания чувств обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, что необходимо для порядка и для блага потомства. Брак есть строгий закон, и, однажды подписавшись под ним, ты обязан безоговорочно подчиняться ему до конца. Что говорить, многие не разделяют этого мнения и в любви больше всего превозносят свободу. Еще Цицерон говорил: брак — самая непристойная договоренность между людьми, но всем известно, за Цицероном явился развратный до мозга костей Нерон, и кто знает, может быть, появлению Нерона наряду со множеством иных причин способствовали и подобные мысли Цицерона.

Конечно, Каха не собирался решать этот важный вопрос в тот вечер. Просто такие мысли посетили его, когда он прогуливался с Рукайей по темным улицам. Они уже перешли на ты, но сферы их интересов настолько отличались, что они с трудом находили точки соприкосновения. В основном развлекались анекдотами и несколько сблизились, хотя пока еще их можно было назвать чужими друг другу. Проводив девушку до дому, Каха поинтересовался, как ее мать.

— Знаешь, Каха, я все рассказала матери, — ответила Рукайя.

— Что рассказала?

— То, что ты сказал мне.

Теперь уже было необходимо разъяснить недоразумение, но Каха снова промолчал. У него не достало твердости развеять счастливые иллюзии девушки. Она уже не выглядела монашкой или старой девой и, должно быть, чувствовала себя на седьмом небе, правда сейчас была бы для нее острее ножа. Не оставалось никаких сомнений, она восприняла слова Кахи со всей серьезностью, если поделилась с матерью этой маленькой тайной. То, что она ввела мать в курс дела, исключало всякое са-

мозабиение, но было с ее стороны благодарным, и, с этой точки зрения, заслуживало похвалы. Поэтому и сейчас Каха предпочел плыть по течению. Что будет будет, что должно случиться — случится, истина восторжествует и без моего вмешательства, — решил он, предпочитая выждать.

— И что же она ответила?

— Ты ей нравишься.

Озабоченным возвращался Каха домой в тот вечер. Впервые, он совсем не собирался жениться. Но главным было то, что Рукайя продолжала оставаться для него чужой, он не любил ее. Встречаясь с ней, он не ощущал ни счастья, ни гордости, ни волнения, считающихся в подобных случаях признаками любви. Он был трезв и спокоен, потом что-то шевельнулось в душе или, может, он сам заставил себя поверить в это ощущение? Они встречались, и Рукайя постепенно оттаивала, веселела, расцветала, держалась мило и непосредственно, но по-прежнему сдержанно. Каха одобрял ее целомудрие, в ожидании замужества она не позволяла себе легкомыслия, как некоторые. Напротив, стала как будто еще серьезнее, но Каха прекрасно понимал, что ее серьезность и сдержанность являлись результатом рассудочного подхода к делу, а отнюдь не волнением страсти.

— Но ты же не любишь меня, Рукайя? — попытался он найти лазейку для отступления, как-то раз провожая девушку домой.

Рукайя ужасно обиделась.

— Конечно, люблю, но... но... за кого ты меня принимаешь? — у нее даже слезы выступили на глазах.

Тогда Каха увлек ее в темный подъезд, обнял, прижал к стене и поцеловал в губы. Он делал это сознательно и спокойно, одолел этот шаг, потому что был уверен, что и Рукайя с трепетом ждет этой минуты, а заодно решил испытать и себя: может быть, физическая близость принесет ту, другую, более значительную близость, и когда он вкусил робкий, неумелый ответный поцелуй, ему показалось, что пришла радость, которую он тщетно ждал столько времени. «Рукайя — моя судьба, само провидение свело нас и заставило меня произнести те слова, от которых я потом не смог отказаться. От судьбы никуда не убежишь», — решил в тот вечер мой друг.

Вскоре после этого они поженились. А там я уехал из Тбилиси, но в свободную минуту часто думал, в самом ли деле полюбил он Рукайю или по добrote душевной принес эту странную жертву, которую, возможно, и сам не сознавал? Может, эта жертва и была его виной?

«Жизнь так устроена, что на этом свете нет безгрешных», — думал я, стоя спиной к окну, когда в комнату вошел Каха. Он поставил посреди стола полную сковородку жареной картошки. С улицы по-прежнему доносились звуки фортепиано и неутомимый баритон: а-а-а, э-э-э! Стемнело. От сковороды поднимался горячий пар. Каха нарезал хлеб и колбасу, откупорил бутылки. Мы сели. Он наполнил стаканы:

— Тархудж, от тебя мне нечего скрывать, я теперь не в

своей тарелке, но я очень рад тебя видеть. Давай выпьем за нас с тобой!

-- За нас! — мы чокнулись и выпили.

Потом молча принялись за еду. Оба были очень голодны. «Надо быть или большим эгоистом или вообще не задумываться ни о чем на свете, чтобы считать себя безгрешным!» — раздумывал я, глядя на Каху и жалея его. Но все-таки я был уверен, что он заслужил эту муку, которая сейчас отразилась на его жизни. Сам виноват перед собой и Рукайей, хотя бы потому, что, собираясь жениться, чувствовал: с этой женщиной ему счастья не видать, и все-таки женился, не поверил предчувствию. Предчувствие или интуиция подводит многих, возможно, даже большинство, но Каха не обманулся. Едва Рукайя стала его законной супругой, как постепенно развеялась иллюзия радости, которую он сочинил для себя в темном подъезде. Видимо, там и в помине не было настоящей радости, просто, он убеждал себя в приходе ее, зная, что пути на попятный нет, он сам отрезал этот путь, когда слепо последовал за течением событий, не оказывая ни малейшего сопротивления, уповая на решение свыше или на судьбу, а течение подхватило и поволокло его. В глубине души он и сам знал, в чем причина, хотя даже себе не признавался в этом. Она заключалась, видимо, в недостаточной вере в себя. В жизни каждого достойного человека наступает момент, когда тот задумывается над своим происхождением, задумывается о ближайших предках, чьим отпрыском он является, и если при этом он оказывается в не очень-то выгодном положении, то воспринимает это как нож в спину, каким бы достойным человеком ни был он сам, может, поэтому мой друг и выбрал Рукайю — застенчивую, чересчур практичную, несколько неотесанную, с детства не знавшую роскоши. Короче говоря, все решил разум, а не чувство. Деловое спокойствие связывало их, ни один не испытывал того сладостного волнения, которое делает необходимой и драгоценной причину этого волнения. Каха, вроде бы, с самого начала стремился к покою, а обретя его, затосковал, ему захотелось большего. Но имел ли он право на большее? Рукайя считала мужа обыкновенным человеком, в то время как сам он, несмотря на свои комплексы, в глубине души все же мнил себя исключительной личностью. Рукайя не интересовалась его духовным миром, для нее Каха оставался неимущим и честным человеком, тогда как другие загребали деньги, сколачивали состояния, ворочали делами, сверкали в обществе, разъезжали по заграницам, приобретали дорогую мебель, выбивались в люди, с их мнением считались, их портреты печатали в газетах. Рукайя не видела преимуществ Кахи перед этими преуспевающими деятелями, хотя он пытался доказать ей свое превосходство. И в самом деле, в чем заключалось его превосходство, в чем оно выражалось? Рукайя по-своему была права, но, с другой стороны, понятно и недовольство Кахи, потому, что порой вера и любовь женщины последнего труса превращают в героя. Каждый мужчина, сознательно или бессознательно, старается соответствовать тому представлению, которое сложилось о нем у любимой женщины, разумеется, если оно достаточно высокое. Рукайя при-

держивалась отнюдь не исключительного мнения о Кахе, и это мешало ему, ибо, несмотря на природную скромность в ту пору он считал себя рожденным для великих и знаменательных дел.

371935320  
30320110933

Бесспорно, Каха был талантливый человек, но для расцвета таланта необходимы благоприятные условия, а самое главное — вера в свои силы. И хотя сначала этой веры в себя у него было достаточно, теперь она постепенно угасла, а Рукайя не могла воодушевить его. И чем больше проходило времени, тем чаще вспоминалась ему Дареджан, с которой он постоянно ощущал себя смелым, мужественным и свободным. Не ошибся ли он, не поторопился ли, когда отверг Дареджан и предпочел Рукайю? Хотя отверг в данном случае не совсем точное слово, так как между ними не было ничего серьезного и определенного. Было только ожидание, возможность того, что игра, которой они развлекались, когда-нибудь превратится в нечто серьезное. Дареджан производила впечатление веселой и своенравной девушки, но обнаруживала гораздо больше мягкости и женственности, чем Рукайя. Ей было интересно с Кахой, он ей нравился, и, чувствуя это, в ее обществе и Каха становился смелым, раскованным и по-настоящему интересным. Дареджан нравилась ему, волновала его, но он не представлял ее женой. Во-первых, потому, что до их знакомства она уже сменила двух воздыхателей и ничуть не скрывала, что понимает толк в ласках, хотя и уверяла, что далеко в них не заходила. Но кто знает?.. Потом Каха убедился, что она не обманывала и была чиста, но тогда он же не знал этого? Кроме всего прочего Дареджан была по натуре кокетлива, обожала так называемый легкий флирт и своей смелостью и веселостью ежеминутно давала повод для ревности. А по мнению Кахи, от легкого флирта до измены всего один шаг. Правда, тогда Дареджан была свободна и могла вести себя как ей вздумается, но моего друга все это настораживало. Зато ласки и поцелуи Дареджан оставались в памяти, как нечто незабываемое и сладостное, и он все чаще задумывался, не любил ли он эту девушку? Почему рядом с ней он ощущал такую свободу и счастье? И сам отвечал себе: наверно, потому, что это была игра, а игра всегда приятна. Но сейчас, окунувшись в семейную жизнь, он все чаще вспоминал эту игру, все сладостней и притягательней казалась ему она. Так прошел год, и как раз в те месяцы, когда Рукайя ждала ребенка, Каха и Дареджан встретились снова. Он проводил свой летний отпуск в альпинистском лагере. Группа расположилась в небольшой деревушке, куда вскоре прибыла экспедиция из Тбилиси, собирающая образцы устного народного творчества. С этой экспедицией приехала и Дареджан. И вот здесь, в маленькой деревне, затерявшейся среди величественных гор, они и встретились. Кто не замечал, как меняется человек, вырвавшись из города, как преображается он, каким свободным становится, конечно, если это человек чуткий и чувствительный. Ему кажется, что, попав на лоно природы, он лучше постигает мир, задумывается о бытии, о судьбе человеческого рода. Здесь он принадлежит лишь самому себе, у него словно раскрываются глаза на то, что скры-

вал и подавлял город своей нескончаемой суетой. Здесь человек напряженно приглядывается ко всему, к природе, к растениям, к животным, к самому себе и часто приходит к выводу, что у него гораздо больше общего с животными, чем с заводскими станками, машинами и прочими неодушевленными предметами, постоянное общение с которыми в конце концов опустошает душу самого человека, превращая его в автоматического исполнителя узких обязанностей, в тот же станок или некую разумную машину. Здесь человек стряхивает тупость повседневности, и, когда он вглядывается в безбрежные просторы, перед ним, пусть только в мечтах, раскрываются тысячи возможностей, потому что у него есть время и желание мечтать; когда он задумывается о потерянных возможностях, его охватывает грусть, вызванная неизбежным равнодушием бытия, и эта грусть выводит его. Когда Каха и Дареджан встретились в этой глухой деревушке, они словно забыли ту жизнь, которая существовала до этой минуты, забыли, что, помимо крохотной деревеньки и огромных гор, существует и другое — обязанности, долг, общественное мнение, да и само общество. Они словно превратились в Адама и Еву, блаженствующих в безлюдном саду Эдема, и не оказали никакого сопротивления тому влечению, которое внезапно бросило их друг к другу, а наоборот, радостно поддались ему, уступили мигу, которого бранный мир еще не успел погасить и который, словно милость, был отпущен им судьбой. И поскольку это ощущение было полным и счастливым до дрожи, поскольку здесь бушевали лишь внезапно вспыхнувшие и обнаженные страсти — без всяких примесей, без мелочного расчета, не скованные законом и нормами, то обоим показалось, что они неистово любят друг друга, не в силах жить один без другого, да и в то время, вероятно, так оно и было.

— Ты бы осталась здесь, со мной, навсегда? — спрашивал иногда Каха.

— Конечно! — не задумываясь, отвечала Дареджан.

— А выдержала бы?

— С тобой везде бы выдержала!

И хотя Каха понимал, что, пока женщина не прибрала тебя к рукам, она согласна на все условия и до времени не обнаруживает своих желаний, приберегая их на потом, ему было сладко слышать эти слова, и он убеждал самого себя в искренности Дареджан. В тот миг Дареджан и в самом деле была искренней, преисполненной ожидания, реальность и вправду казалась ей такой, претензии, наверное, возникли бы позднее, но Каха видел в этом безграничную самоотверженность, а не обыкновенный женский инстинкт. Он был счастлив, как когда-то, и именно в это время ему, находящемуся на вершине безграничного блаженства, принесли телеграмму, извещающую о рождении сына.

— Что делать? — спросил он у Дареджан, стыдясь своего притворства, ибо знал, что сегодня же отправится в Тбилиси.

— Ты должен ехать к сыну, — ответила Дареджан.

Вернувшись в город и увидев своего первенца, Каха почувствовал, что отныне уже не принадлежит самому себе. Он уже не был свободен. Он видел безграничное счастье Рукайн, ко-



тору ю ничто не интересовало на свете, кроме младенца, и про-  
никся к ней глубочайшим уважением, вдобавок именно те-  
перь вспомнилось высказывание одного мудрого человека:  
«Для достойной женщины цель жизни — ребенок, а мужчина  
— только средство». Что ж, в таком случае и достойный муж-  
чина должен требовать от достойной женщины только этого, —  
согласился в душе Каха, и безмерное самозабвение Дареджан,  
которая говорила, что даже ребенка не будет любить так силь-  
но, как его, уже не наполняло гордостью, а казалось доволь-  
но сомнительным. Видимо, то, чем пожертвовала для него Да-  
реджан, не было для нее таким значительным, как это пред-  
ставлялось моему другу. Если это действительно было так, то-  
гда этой жертве, этим отношениям недоставало надежности, и  
легко можно было предположить, что Дареджан так же без-  
душно могла открыть другому — подвернись он в то время —  
душу и объятия. Несмотря на такие мысли, Каха и в Тбилиси  
продолжал встречаться с Дареджан, не в силах отказаться от  
наслаждений, которые она дарила ему. Дареджан не требовала  
от него никаких жертв, и, вопреки сомнениям, он чувствовал,  
что эта женщина по-настоящему любит его, и это ощущение  
рождало ответное чувство. Он совершенно запутался, сбился с  
толку, раздвоился, уважение к жене, появившееся после рож-  
дения сына, не могло победить любви к возлюбленной, он все  
больше и больше терял голову, и душа его уже не лежала к  
работе, хотя положение обязывало его быть именно теперь осо-  
бенно прилежным. В таком неопределенном состоянии находил-  
ся Каха, когда ребенок заболел. Заболел тяжело, шли дни, а  
улучшения не наступало. Врачи советовали набраться терпе-  
ния, но, глядя на мучения сына, Каха терял последнюю стой-  
кость; ночи напролет в оцепенении просиживал он у постели  
младенца, до свету не смыкал глаз, а днем, если не приходи-  
лось бегать за врачами или лекарством, устраивался в углу  
тесной кухни и отупело курил сигарету за сигаретой. Потом  
снова подбиралась темная, беспросветная ночь, безнадежная,  
непроницаемая, таящая тысячу возможных напастей, и созна-  
ние его, так же как мир и время за окнами, покрывалось мра-  
ком, и в этой беспросветности не брезжило и огонька надеж-  
ды. А когда у человека иссякает последняя надежда, когда соб-  
ственное бессилие доводит его до отчаяния и спасения ждать не-  
откуда, тогда вспоминают о боге. Наверное, отсюда исходят  
обеты и жертвоприношения — из этого бессилия. Нужно особен-  
ное счастье или тяжелейшее горе, чтобы человек обратил взор  
к чему-то, стоящему над ним; беспомощный, попавший в без-  
выходное положение человек будто и впрямь приобщается к че-  
му-то, превосходящему его силы и реальные представления,  
словно чувствует проявление и существование этого нечего, и  
ему кажется, что путь его освещается, угасшая надежда воз-  
горается, становится ясной причина несчастья и выход из не-  
го. В одну из тех страшных ночей Каха счел причиной несча-  
стья собственные грехи, двуличие и двоедушие и решил по-  
жертвовать любовью Дареджан, которая приносила ему огром-  
ное счастье. Он дал обет — если поправится мальчик, с Да-  
реджан будет покончено. И хотя после выздоровления сына он

не смог сразу выполнить своей клятвы, но постепенно стал отдаляться от Дареджан, само провидение помогало ему, <sup>то</sup> потому что события развивались так, что в конце концов они окончательно расстались друг с другом.

94935920  
2022010933

Вскоре совсем стемнело. Мы утолили голод, перевели дух и взялись за сигареты. Несколько стаканов, выпитых за обедом без лишней болтовни, разморили меня, а Каха, наоборот, воодушевился, и его потянуло на излишества. Приглушенный свет настольной лампы едва рассеивал полумрак. Я сидел у окна, глядя на овалный блик света на стене, и слушал Каху. Он был убежден, что причина его разлада с Рукайей кроется в том, что они ни на йоту не уважали друг друга и созданная ими семья походила на наспех построенный картонный домик. Все это Каха связывал со своим общественным положением. Он был недоволен службой, его проекты пропадали втуне. Почему? Да, оказывается, потому, что ему недостает осторожности, хитрости, а может быть, и нахальства, без которых трудно добиться успеха и признания. Некоторые большую часть времени и энергии посвящают не серьезному труду, — говорил Каха, — а всевозможным уловкам, чтобы пролезть, протиснуться, пробиться и завоевать так называемое положение. Что такое положение? — Забота об утробе, забвение всего остального, наплевательское отношение ко всему.

— А я в этом деле растяпа, неудачник... — заключил он.

Я молча слушал его. Мой друг нервно затягивался, и вместе со словами дым вылетал у него изо рта и ноздрей. Он в самом деле был одаренным человеком и с первых же шагов заявил о себе. Однако после окончания школы он забросил рисование и увлекся архитектурой. Блестяще закончил институт, его проекты часто побеждали на конкурсах, но именно с того времени появились завистники и бывали случаи, когда работы Кахи присваивались менее талантливыми, но более пронырливыми коллегами — под видом соавторства или в иной форме. По окончании института он снова вернулся к живописи и тут, по мнению знатоков, достиг определенных успехов, но, кроме пустых, ничего не значащих слов, ни в ком не встретил поддержки. Напротив, число завистников и равнодушных все возрастало. Он не отчаивался, прилежно трудился, рос, но при этом постепенно превращался в отшельника, ничем не мог пробить стену безразличия и исподволь пришел к выводу, что его творчество в данный момент никому не нужно и не интересно. Все были увлечены такими вещами, практический результат или материальная выгода которых уже сегодня давали осязаемые плоды.

— Тут мы верны одному из заветов Христа: не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам позаботится о себе, — горько рассмеялся он.

Я слушал его и чувствовал: он в самом деле убежден, что забота об утробе обуюла всех от мала до велика, что ради бездушного практицизма преданы забвению насущные духовные потребности. Поэтому он уверял меня теперь, что литература и искусство больше никому не нужны, если они не приносят ве-

цественной или денежной выгоды. Литература и искусство — это игра фантазии, а в нашу меркантильную эпоху такая игра никого не забавляет. Тот, кто еще продолжает серьезно смотреть на это дело, не чувствует духа времени. Сегодня никого не интересует, кто ты, сейчас самое главное — что у тебя есть, каким имуществом ты владеешь. По мнению Кахи, наступил такой период, когда труд считается зазорным, а поиски легкого пути и беззаботной жизни стали чуть ли не законом. Он говорил, что большинство людей предается поразительной беззаботности, самодовольству и неге, но это никого не волнует, потому что большинство думает только о себе, старается побольше урвать у жизни, совершенно не заботясь, что оставляет по себе будущим поколениям. Исчезли образцовые, смелые, избранные люди, сфера интересов и поле деятельности которых выходили бы за рамки личного. Каждый забился в свою скорлупу, окопался в собственной норе и старается как можно лучше обставить ее, а что происходит вне его норы и скорлупы, никого не волнует, словно никак его не касается. В цене только благополучие — и ничего больше. Талант и ум становятся объектом внимания только в том случае, если ты ухитрился этим умом и талантом сколотить состояние, упрочить свое положение, но если тебе этого не удалось, никто тебя и в грош не ставит, а собственная жена может обозвать тебя неудачником и в один прекрасный день уйти от тебя, прихватив с собой сына, с которым ты связывал самые заветные чаянья и надежды, мечтая вырастить его таким, как хотелось бы тебе. Но, оказывается, и сие от тебя не зависит, и ты остаешься один как перст, бесцельно слоняешься по улицам, а тут тебя хватает некая досужая дама и начинает щебетать о твоём творчестве, о твоих картинах. Эта беседа, видите ли, развлекает ее, а ты уже дошел до такого предела, что ее болтовня приводит тебя в бешенство; ты уже настолько пал духом, что саркастически смеешься, когда тебя хвалят за работы, которые ты сделал, когда был наивен и полон надежд, когда верил в необходимость собственной деятельности, но сейчас ты уже не тот, сделанное когда-то потеряло в твоих глазах былую ценность, ты полон сомнений в необходимости твоей деятельности, ты хочешь молчать, ибо твое слово не находит слушателя. Несмотря на это, ты чувствуешь: проповедник правды все-таки нужен, но — недостаточно одних проповедей. У жизни свои законы, и всякая проповедь только тогда к месту, когда диктуется законами самой жизни, а не личным желанием и волей проповедника. Каждая проповедь нуждается в своем моменте и в своей пастве, которая готова внимать ей, в противном случае она остается гласом вопиющего в пустыне. Что делать человеку, к чему ему приложить руки? Он должен пьянствовать, нажираться, тонуть в отраве, забывая болячки, забывая все на свете...

Я с горечью внимал ему. Каха поразительно изменился, я не узнавал его. Чем резче были его слова, тем больше он налегал на вино. Комната походила на душегубку. Голова у меня кружилась, кошмаром давило то беспросветное мрачное наст-

роение, которое царило в этой душной комнате. Я больше не мог выносить этого и поднялся:

— Вставай, Каха, выйдем на воздух!

На улице я глубоко вздохнул. Каха, казалось, уснул. Он излил передо мной душу и теперь шагал почти беззаботно. Опыянение замечалось только при разговоре, но мы шли молча, все уже было обговорено. Он должен сам преодолеть свои трудности, сам должен понять свою ошибку, найти верный путь и силы, чтобы этот путь проторить. Утешения других тут не помогут. Конечно, затянувшаяся полоса неудач убивает в человеке радость, но все на свете имеет конец, может быть, и Кахе повезет, — думал я. На проспекте Руставели, как всегда, толпился народ, и, уставший от городского шума, я радовался, что близится час моего отъезда. Я несколько не огорчился, что оставил Тбилиси, старых друзей и старые воспоминания. Моя деревенька звала меня, меня ждала жизнь, в которой я довольствовался немногим — созерцанием вершин, синеющих до цвета медного купороса, и горчичных склонов, ощущением их значительного безмолвия, свежести зеленых лугов, безбрежности полей и небосвода — той безграничностью, за которой стремительной ласточкой уносилась мысль. Ночь опустилась на суматошный город, и мириады зажигающихся огней вызывали головокружение. Тут-то мы столкнулись с Парнаозом. Он выглядел слегка выпившим и по-прежнему веселым. Раскинув руки — «Кого я вижу!» — зычно гаркнул он и так стиснул меня в объятиях, что чуть не переломал мне кости. Этот ничуть не изменился. К нему смело можно было применить известные стихи Александра Чавчавадзе: «Я все тот же, пусть годы бегут, как вода. Не гонюсь я за сменой времен. Я все тот же всегда». Он громко начал упрекать меня, почему я не навестил его, коль скоро оказался в Тбилиси. Я попробовал заикнуться, что приехал всего на один день, но он и слушать ничего не желал. Каха сообщил ему, что сегодня умер дядя Ираклий.

— Правда? Эх, бедняга! Впрочем, так для него лучше! — решил Парнаоз.

Я объяснил, что именно там встретил Каху, совершенно случайно.

— Случайно ничего не бывает!

— Ты не поверишь, но так же случайно я столкнулся сегодня с Вахтангом и Софико. Потом к ним в машину подседа какая-то симпатичная девушка по имени Эло, и они уехали впроем. Можешь спросить у них.

Парнаоз чуть не поперхнулся с хохоту:

— Наш Вахтанг великий новатор, создатель коллективной семьи! — восклицал он.

Я не понял, что его рассмешило.

— Создатель чего?

— Коллективной семьи, — хохотал Парнаоз, — сказать тебе, не поверишь: Эло — любовница нашего друга, а ее брат — любовник Софико, об этом весь город твердит. Так вчетвером и спелись! Ха-ха-ха!

— Что он говорит? — я в недоумении обернулся к Кахе.

— Мелет!

Тем временем Парнаоз поймал такси, затолкнул нас в машину, стремительно сел рядом с шофером и скомандовал:

— В Ваке!

— Что нам там понадобилось? — спросил Каха.

— Гульнем!

— Это дело!

На меня внезапно нахлынуло такое чувство, будто я уже не принадлежу самому себе, неведомая волна подхватила меня и тащит по своему произволу. Я не имел ни малейшего представления, куда это Парнаоз везет нас, он не спрашивал, располагаю ли я временем и желанием. Но и я не оказывал сопротивления. Махнув рукой, я откинулся на спинку сиденья. Машина наша вскоре остановилась у ворот трехэтажного кирпичного дома с ярко освещенными окнами. По команде Парнаоза мы вылезли из машины. В последний раз я попытался настоять на своем, нащупать под ногами почву.

— Но все же, куда мы идем?

— К хорошим людям! — объявил Парнаоз.

— А все-таки?

— Тут проживает один мой родственник, богатейший дядя. Его сын сегодня защитил диссертацию. Ты же знаешь, мой Тархудж, у нас так рождение ребенка не отмечают, как защиту диссертации. Угощение нас ждет знатное! Ха-ха-ха!

— Пошли, — потянул меня и Каха, — выпьем!

— Слушай, в конце концов, мы же там никого не знаем, — попытался я высказать свои соображения, но Парнаоз немедленно оборвал меня:

— Что пользы от знания! Ха-ха-ха! — захохотал он, погнав вперед, как баранов, меня с Кахой. Я чувствовал, что меня снова подхватила та же неведомая, могучая волна, вертевшая мной, как ей вздумается, и через минуту, забросившая меня в ярко освещенную переднюю чужого дома.

Хозяева встретили нас с любезной улыбкой:

— Добро пожаловать, дорогие, добро пожаловать!

Меня мгновенно сковала неловкость, но поздно было кусать локти. Кто сейчас отпустит тебя? Я и на Каху злился, что он, не задумываясь, поперся за Парнаозом. Парнаоз облобызался со всеми родственниками и представил нас:

— Рекомендую, мои лучшие друзья!

— Очень приятно!

— Я виноват перед вами, не смог присутствовать на защите, но наука меня не интересует, я в ней не разбираюсь, — без тени смущения объявил Парнаоз хозяевам. — Зато за столом не подкачаю, что скажете, а?

— Пожалуйте к столу! — слышалось в ответ.

Покрикивая свои «ха-ха-ха» да «хе-хе-хе», Парнаоз двинулся вперед. Мы с Кахой поплелись за ним в освещенный зал. Громадная комната ослепила меня — все сверкало и искрилось: огромные люстры, хрусталь, драгоценности женщин, выкрашенные во всевозможные цвета волосы, радужные галстуки... Аромат духов, вина и мяса клубился в воздухе. За столами, накрытыми в два ряда, восседала разряженная публика,

а бравый тамада с гигантским турьим рогом в руках, стоя, произносил тост в честь вытянувшихся по стойке «смирно» оппонентов. Один из них, преждевременно польсевший мужчина с изрядно наметившимся брюшком показался мне знакомым. Тамада называл его надеждой нашей науки, а когда в ответ на эти похвалы последовала самодовольная и в то же время лстивая улыбка оппонента, я узнал его. Это был тот самый Тамаз, по милости которого несколько лет назад я едва не распрощался с жизнью. «Молодец, далеко пошел!» — подумал я про себя.

Тем временем хозяева пригласили нас в соседнюю комнату. И там был накрыт длинный стол, за которым сидели подвыпившие гости. Стены украшали картины в дорогих рамках, купленные, судя по всему, в антикварном магазине. Мы миновали и эти покои и вышли на красивую открытую веранду, где было попросторнее и прохладный ветерок играл ветвями лозы, густо обвивавшей столбы балкона. Я заметил несколько знакомых лиц, среди них была Мери. Я совершенно не ожидал столкнуться с ней в незнакомом доме, но был настолько недоволен нынешним вечером, одурманен вином и шумом, что ничуть не удивился, встретив ее здесь, и в душе моей ничего не шевельнулось. Мери, разумеется, тут же узнала меня, и пока нас рассказывали, она с удивленной и смущенной улыбкой смотрела на меня. На ней было платье кораллового цвета. Прижавшись плечом к какому-то надутому молодому человеку, видимо, мужу или жениху, она курила сигарету. Я кивнул всем и Мери в том числе. Она мизинцем сняла табачную крошку с кончика языка, выпустила дым и улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. Парнаоз скомандовал, чтобы все потеснились и посадили его друзей.

Гости зашевелились, Каху усадили рядом с женихом Мери, а мне указали на стул против них. Соседом моим оказался худощавый и очень любезный писатель лет сорока с лишним. Я встречал его в доме батони Давида. Насколько я понимал, писатель и сидящая с ним рядом молодая женщина обсуждали его новое произведение.

— А вот последний эпизод, где кошка взбирается на дерево, мне не понравился, — расплывшись в улыбке, ворковала женщина. Было видно, что беседа с этим известным писателем доставляет ей неопишуемое удовольствие.

— Почему же? — удивился тот. — Ведь он несет определенную смысловую функцию.

— С, это я поняла. Не обижайтесь, но мне не понравилась масть этой кошки, она не должна быть черной, я не выношу черных кошек...

— Что вы, что здесь обидного? — обиделся писатель. — Какой же, по-вашему, должна быть кошка?

— Мне представляется, что пестрая лучше. Если бы вы знали, до чего я обожаю пестрых кошек... При этом финал, несомненно, выиграет!

— Нет, нет, — отрезал уверенный в себе писатель, — это невозможно, это погубит экспозицию!

Наш Парнаоз уже восседал во главе стола. Ему вручили опромный рог. Пока рог наполняли вином, я наблюдал за Парнаозом, потешаясь в душе. Он любил пиры и за столом чувствовал себя как рыба в воде. Громко пожелав своему родственнику в скором времени защитить и докторскую, Парнаоз выразил надежду, что стол, накрытый по сему поводу, намного превзойдет нынешний.

— Хотя, — подчеркнул он, — и на сегодняшнем столе мы найдем все, кроме птичьего молока. Желаю вам птичьего молока! — закончил свою речь Парнаоз и приник к рогу. Оторавшись от него, протянул мне уже пустым с возгласом:

— Алаверды<sup>1</sup> к моему Тархудку!

Я начал было отнекиваться, впрочем, понимая с самого начала, что отвертеться не удастся. Хозяева пристали, что один рог выпить необходимо.

— Не могу! — отказывался я.

— Должны смочь, должны! — загудели со всех сторон.

«О чем ты думал, идиот, когда перся сюда?» — выругал я себя в душе.

— Пей, предводитель пьяниц, подравняемся! — как дикарь орал Парнаоз. Раз он привел меня сюда, то искренне старался оказать мне всяческое уважение. Я не стал упорствовать и поднялся. Пришлось мне выпить, хотя я не мог поручиться, что не свалюсь под стол от такой лошадиной дозы. Поднеся рог ко рту, я медленно начал вливать в глотку тяжелую как свинец, холодную, неприятную жидкость, которую давно отвык пить в таком количестве. Уставясь обреченным взглядом в побеленный потолок, я еле удерживался на ногах от головокружения; дыхание перехватывало, пот прошиб меня, а вино никак не кончалось, текло и текло, и, осушив в конце концов свою мученическую чашу, я застыл с обалделым лицом, чувствуя, что улыбаюсь бессмысленно и глупо, как клоун перед многочисленными зрителями, только что проткнувший гвоздем щеку. Ободряющие крики отрезвили меня. Рог у меня отняли и вручили Кахе. Все кружилось перед глазами, я сел и подумал: посмотрим, как наш Каха поднимется завтра в девять, но ничто уже не заботило меня, не тревожила и смерть дяди Ираклия, чье безжизненное тело в полосатой пижаме на миг возникло перед глазами (когда я думал о завтрашнем дне Кахи) и тут же забылось. Удивительное чувство покоя охватило меня. Остановившимся взглядом смотрел я на жениха Мери, сидевшего напротив, который с таким деловым и серьезным видом копался в тарелке, словно накладывал резолюцию. Сидящие по соседству молодые женщины разбирали выступление нового эстрадного ансамбля, Каха опорожнял рог. Наконец опорожнил, слава богу! Вежливым писателем стыдливо улыбнулся и пошутил:

— В месяц августа, пятого дня, в субботу, хроникона шестидесятого и тринадцатого года, по календарю исмаилитов — двести тридцать девятого, Буга-Турок сжег праг Тбилиси, поймав амира Сахака и убил; того же августа, двадцать шестого

<sup>1</sup> Алаверды — застольный возглас, когда чаша идет вкруговую и один из сотрапезников передает тост другому.

дня, в субботу же, Зир-шейх схватил Каху и брата его, Тархужа и утопил их в вине...

Эту шутку, вернее, своевременное проявление эрудиции женщины встретили бурным восторгом, что, как я заметил, очень понравилось Кахе:

— Кого вы подразумеваете под Зираком? — вызывающе уставился он на писателя.

— Парнаоза, — остроумно ответил тот.

Смех и аплодисменты были ему наградой. Но тут вмешался жених Мери:

— Вы ошибаетесь, товарищ, сегодня воскресенье, а не суббота.

— Я, батона, процитировал надпись на Атенском Сионе. — любезно пояснил писатель и улыбнулся.

— А-а, прошу прощения! Я как работник промышленности не очень хорошо знаю грузинскую историю. — оправдывался незадачливый ухажер.

Несмотря на то, что и Мери неважно знала историю Грузии, ей стало неудобно за маленькую оплошность жениха, и она покраснела. Пир продолжался, затянули песню.

— Когда приехал, Тархужд? — спросила Мери с вежливой улыбкой.

— Вчера.

— Долго пробудешь?

— Ночью уезжаю.

Ее жених метнул на меня прозный взгляд, но так как беседа была безобидной, он успокоился, достал пачку американских сигарет и закурил. Мери уже болтала с соседкой. Гордо вытянув руку, она демонстрировала перстни, украшавшие длинные, ухоженные пальцы.

— Что за прелесть, какие перстни! — не скрывала восхищения соседка.

— Мне их Марлен купил, — Мери благосклонно посмотрела на жениха.

— Чья работа?

— Котэ Данибегашвили. Сейчас он лучший ювелир в Тбилиси! — Мери окинула гордым взглядом свои кольца.

За столом уже стоял невыносимый галдеж...

Выбравшись на улицу и ощутив себя, наконец, в безопасности, я долго не мог избавиться от шума в ушах, казалось, гвалт застолья по пятам преследует меня. Я устал, и мне было тоскливо. Опьянение сказывалось только на несколько неуверенной походке... Потом я поймал такси и помчался на вокзал. Голова все еще кружилась. Город за окном как будто плыл по волнам, дома покачивались, как хмельные. Я еле поспел к поезду, поднялся в вагон, нашел свое место и, лишь когда состав наш тронулся, вздохнул с облегчением. В купе кроме меня никого не было. Я опустил окно и подставил ветру разгоряченное лицо. Мерцающий огнями город остался позади, поезд рассекал темное пространство. Я радовался, что наконец-то выбрался из этого шумного города. Последние огоньки утонули во мраке. Я закрыл окно, не раздеваясь, вытянулся на нижней полке и смежил веки. Иногда в лицо мне ударял свет, проникавший че-



рез окно. Потом уже ничто не нарушало темноты. Ритмичный стук колес успокаивал нервы, взбудораженные сегодняшними впечатлениями. Почему-то все казались мне предателями, и Парчаоз, и Каха, и Вахтанг, и батони Давид, и Софиико, и Рукания. Все они в чем-то запутались, сбились с истинного пути, словно потеряв правильный курс в жизни. Я радовался, что возвращаюсь в свою деревеньку, и почему-то воображал себя бесконечно счастливым. Может быть, я не совершал ничего особенного, но за особенное и не хватало. У меня была своя жизнь, и мне казалось, что я постиг истину, хотя и не представлял себе ясно, что это такое. Может быть, любовь к умеренности, может быть... Увы, высказать все невозможно. Разве слово способно выразить все то, что происходит в душе человека? Глуховатый перестук колес нагонял сон, и я постепенно погружался в дремоту.

И мне приснилось.

В лесу, у края дороги мы с Кахой разбили палатку. По ту сторону дороги текла широкая река, но плеска воды не было слышно. Голубовато-зеленоватый цвет окрашивал все вокруг. Стоял день, но солнце не светило. Неземной блекло-голубой свет струился сверху. В лесу царили страшная тишина и пустота, из-за которых не ощущалось течение времени, ибо никаких перемен не происходило вокруг. За все время никто не проходил по дороге, длинной и прямой как стрела. Эта дорога была асфальтирована, на ней не было видно ни души вплоть до самого горизонта. Мы сидели молча. Потом я вышел на дорогу и посмотрел вдаль, на возвышенность, куда поднималась и где пропадала дорога. Там кто-то был. Он явно шел к нам, но не приближался ни на шаг. Я стоял и смотрел, а он все шел и шел, оставаясь на месте. Кроме этой далекой точки, на всей дороге не было никого.

Затем неподвижный голубой свет сменился темнотой. Стемнело сразу. Ничто не нарушало безмолвия. Когда стемнело, река исчезла. Шума воды слышно не было, и когда я ее не видел, не ощущал ее близости. Мы забрались в палатку и, кажется, уснули, а может быть, и не спали. Даже в палатке я слышал шаги идущего....

Потом мы, вероятно, проснулись, потому что ночной мрак уже рассеялся. Я вышел к дороге и взглянул в ту сторону, откуда кто-то шел. Он был все так же далеко и все шел к нам. Мы с Кахой стояли у обочины, взглядываясь в него, но не могли разобрать лица, уж очень большое расстояние разделяло нас. То же голубовато-зеленое сияние струилось сверху. Солнца по-прежнему не было. Необычайная тишина не нарушалась ни одним звуком, и на всем пространстве до самого конца дороги не было никого, кроме идущего к нам человека. Лишь там, где обрывалась дорога, за спиной путника поднимался сейчас опромный деревянный крест, закрывавший собой весь небосклон. Неправдоподобно велик был этот крест. Мы снова вошли в лес и сели на траву.

Когда мы вторично вышли на дорогу, идущий оказался совсем близко, и я сразу узнал его. Это был Цотнэ. Я застыл

от удивления, помня, что он давно умер. Лицо его было хмуро. Увидев вышедшего из-за деревьев Каху, Цотнэ приблизился к нам.

— Как прошли мои похороны? — спросил он, обводя глазами к Кахе.

Голоса его не было слышно, но я и так знал, что он спросил именно это.

Каха стал рассказывать о похоронах. И его голоса я не слышал, но почему-то прекрасно понимал все, что он говорил, и поражаюсь интересу Цотнэ к его рассказу.

— Почему тебя это интересует? — спросил я. — Какое это теперь имеет значение?

— Как?! — сказал Цотнэ.

— Сейчас для тебя ничего этого не существует, это же произошло после тебя.

— Как?! — повторил Цотнэ.

А Каха подробно рассказывал, что происходило на похоронах. Я удивлялся, что мы беседуем, понимаем друг друга, в то время, как не слышно голоса ни одного из нас. Полнейшая, неземная тишина стояла вокруг.

Потом откуда-то взялся белый конь, и мы трое пошли куда-то — я, Цотнэ и этот конь.

Мы миновали лес и оказались в поле, заросшем великолепными цветами. Я знал, что мы должны подняться на вершину, и боялся, что мне придется трудновато — после возлияний у Кахи и в доме родичей Парнаоза я находился далеко не в лучшей форме. Поле окружали высокие, лесистые горы, озаренные голубовато-зеленым сиянием. Дивный свет переливался и мерцал.

Оставив позади поле, мы очутились в неизвестном городе. Цотнэ шагал впереди, а я торопился за ним, ведя в поводу белого коня.

Город, раскинувшийся по склонам гор, был безгласен и нем. То и дело нам попадались белые санатории и будочки с минеральной водой. Молча скользили мимо прохожие, все до единого в странной, старомодной летней одежде — белые брюки, белые туфли, белые панамы, воротнички белых рубашек выпущены на пиджаки. Женщины — в длинных платьях и шляпах с широкими полями. Они оставляли странное впечатление, это были люди иной эпохи. И вдруг я узнал этот безмолвный, курортный город, вспомнив, что видел его на фотографиях деда. Пятьдесят лет назад мой покойный дедушка отдыхал здесь.

Выйдя из города, мы прошли деревянным мостиком над речкой и двинулись по тропинке. Внизу виднелась молчаливая лесопилка. Двое рабочих катили по узким путям вагонетку.

Белый конь вдруг укусил меня за руку. Боли не последовало, но я страшно испугался. А конь сжимал мои пальцы в вубах и не отпускал. Я корчился и умирал от страха, но почему-то не хотел звать на помощь Цотнэ, хотя он был еще совсем близок и мог выручить меня. Потом Цотнэ удалился, конь выпустил мою руку, я поднес ее к глазам — она была невредима и не болела, однако я почему-то снова испугался.

Взглянув вверх, я увидел над лесистыми холмами острую трехгранную вершину, на которую мы собирались подняться, и был очень удивлен, что вершина сверкала голубизной и снега на ней не было.

Потом, не знаю, как это случилось, мы оказались на кладбище, затерянном где-то в горах. На небольшом плато торчали покосившиеся кресты. В середине кладбища была пещера, у входа в которую стояли двое мужчин: высокий монах в черной рясе и некто, ни платьем, ни обличем не похожий на духовное лицо. Монах сказал, что в глубине пещеры находится зеркало, в котором каждый может увидеть свое будущее. Я побоялся войти. Мне даже рядом с этой пещерой стоять было неприятно. В пещеру вошел незнакомец.

— Он увидит будущее, — сказал монах.

Мы довольно долго простояли в напряженном ожидании.

Наконец из темных глубин пещеры донесся жуткий вопль, потом оттуда выскочил всклокоченный полуголый человек, с безумным взором, наверное, тот самый, что недавно вошел туда, и с нечеловеческим ревом помчался среди могил.

«Помешался!» — мелькнуло у меня в голове, и я в этот миг услышал величавый голос:

«...Услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут глады, и моры, и землетрясения по местам; все же это начало болезней...»

...И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения беззакония во многих охладает любовь; претерпевший же до конца спасется...

...тогда все да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегства вашего зимою...

...ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доньше, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни...»<sup>1</sup>.

Смогло эхо таинственного голоса. Упала тяжелая тишина. Трепеща, стоял я и почему-то не сводил глаз с Цотнэ.

— Может быть, он увидел в зеркале войну?

— Не дай бог войны! — произнес Цотнэ, и я удивился его словам, ибо, по моему мнению, все это уже не касалось его.

...Сильный толчок разбудил меня. Я открыл глаза. Поезд стоял. Я лежал один в темном и узком, как тюремная камера, купе. Откуда-то донесся петушинный крик. Настроение сна еще

<sup>1</sup> Евангелие от Матфея, 24.

не развеялось, сердце стучало, воздуха не хватало. Весь в поту, я встал на ноги и прижался лбом к холодному стеклу. Я ничего не видел за окном, все тонуло в крошечной тьме. Мне почему-то показалось, что за вагонным окном расстилается бесконечное просторное поле, и я с неприязнью ощутил свое одиночество. Мне захотелось перекинуться с кем-нибудь словом, но все спали, из соседних купе доносился беспечный храп. Откуда-то издалека слуха моего смутно достиг чей-то голос, под чьими-то шагами захрустела щебенка, и снова наступила мертвая тишина. Медленно выкарабкиваясь из кошмара сновидения, я возвращался к действительности. Где-то очень далеко залаяла собака. Как отрадно было слышать этот лай. Наш поезд, видимо, ждал встречного на каком-нибудь глухом, тихом разъезде. Непроглядный мрак застил окрестности. Снова пропел петух, следом за ним заревел осел. «Село где-то близко», — подумал я, успокаиваясь и отходя душой. Гнетущее ощущение одиночества постепенно оставляло меня. Когда петух прокукарекал в третий раз, грустная радость наполнила душу. Я почувствовал, как безгранично люблю эту объятую мраком, спящую землю, которую сейчас не было видно из окна вагона. Я любил эту древнюю, усталую землю, орошенную кровью моих предков, удобренную их костями, и чувство безграничной безутешной любви острой болью пронизывало сердце.

Перевод А. БЕСТАВАШВИЛИ  
и В. ФЕДОРОВА-ЦИКЛАУРИ

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Говоря о «Мученичестве Шушаник», так и напрашивается слово — «повезло»... Повезло повести, потому что она каким-то чудом уцелела, сохранилась, «дожила» до наших дней... А ведь могла сгинуть, как, очевидно, и произошло с другими предшествовавшими ей произведениями, на что прямо указывают ученые. Не случайно они называют это творение Якова Цуртавели **ПЕРВЫМ ДОШЕДШИМ** до нас памятником грузинской литературы, подчеркивая этим значительно более ранее существование грузинской культуры, в частности литературы. Но так или иначе «выжив», «Мученичество Шушаник» стало древнейшим памятником грузинской литературы и от него пошел отсчет ее истории. Сегодня, даже с учетом условности этого рубежа, она насчитывает 1500 лет! Значение такого гигантского пути и соответственно отмечаемой даты — неизмеримо.

...Повезло нам, нашим современникам, имеющим благодаря этой возможности приобщиться к этой сокровищнице грузинского народа — произведению высокохудожественному, вдохновенному, а потому нетленному в силу истинности, жизненности, заключенных в нем борений человеческих страстей, выражения неоднозначных проявлений человеческого духа, переданных с мерой подлинного искусства, глубочайшего постижения их природы, всех перипетий общественной, политической, социальной жизни...

Мы черпаем в ней не только эстетическое наслаждение, как от всего настоящего, но и получаем импульсы, стимулирующие работу нашей мысли, нашего сознания... Однако как все истинное, «Мученичество» неоднозначно. Оно — живое явление нашей сегодняшней литературы, живущее полноценной жизнью литературного организма, а не окаменелая древность, и потому продолжает рождать самые разные толкования, интерпретации, суждения...

Некоторое представление об этом дают хотя бы опубликованные в первом номере нашего журнала за минувший год три статьи о «Мученичестве Шушаник», помещенные под рубрикой «1500 лет грузинской литературы», которая с тех пор стала постоянной в «Литературной Грузии». Ибо дата эта — не единовременная кампания, а событие огромного значения в нашей культурной жизни.

Не случайно мероприятия, связанные с этим юбилеем грузинской литературы, рассчитаны на длительный период. Весь прошлый год прошел у нас под знаком ее полуторатысячелетия. Заседали научные сессии, вышли различные издания, состоялся юбилейный вечер... Но работа в этом направлении продолжается. Скрещиваются различные мнения. Заново открывают для себя новые поколения этот свет далекой звезды. И широкие круги русских читателей сно-

ва получили эту возможность — «Мученичество Шушаник» в новых изданиях вышло и на русском языке. Ареал его действия еще больше расширится. Резонанс его будет продолжать расти, ибо по решению ЮНЕСКО, 1500-летие этого литературно-художественного памятника будет отмечаться в 1979—1983 годах.

В русле названного решения мы снова обращаемся к этому немеркнущему шедевру. На этот раз слово предоставляется специалисту по древнегрузинской литературе доктору филологических наук, профессору С. Цаишвили. Его статья, посвященная первой грузинской повести, продолжает обмен мнениями о ней, начатый нами год назад. Тогда мы познакомили читателей с тремя разными взглядами или, скажем точнее, прочтениями «Мученичества» — академика А. Барамидзе, писателя, публициста, переводчика В. Челидзе, поэта и прозаика Т. Чиладзе. Сегодня С. Цаишвили полемизирует с некоторыми из них. Разговор продолжается...

Саргис ЦАИШВИЛИ

## ПЕРВАЯ ГРУЗИНСКАЯ ПОВЕСТЬ

Поразительно, что, говоря о «Мученичестве Шушаник» (и это действительно следует специально отметить), при выборе критериев для его оценки почти не приходится делать скидку на глубокую древность этого памятника, сужать понятие «художественности» с учетом особенностей эпохи его создания (хотя, разумеется, вообще это — совершенно правильный и испытанный метод историко-литературного исследования).

Вряд ли, однако, кто-нибудь станет оспаривать тот несомненный факт, что великие художественные творения не нуждаются в подобных скидках. Границы времени и пространства в таких случаях как бы стираются, и они веками сохраняют свое первозданное очарование, словно лишний раз напоминая нам о непреходящем характере истинно человеческих страстей.

В мировой литературе вообще, в грузинской, в частности, можно найти не один подобный памятник, но «Мученичество Шушаник» стоит на одном из первых мест в их ряду. Однако прежде чем коснуться некоторых специфических особенностей этого произведения, необходимо предварительно отметить, что его лишь условно допустимо считать первым памятником грузинской литературы. Точнее — он один из древнейших, дошедших до наших дней в сравнительно полном виде.

Истоки же грузинской литературы, безусловно, следует искать в гораздо более далеком прошлом, поскольку памятники более давних эпох, предшествовавших пятому столетию (а именно: в этом веке было создано «Мученичество Шушаника»<sup>1</sup>), античности, античной эпохи, до нас не дошли. О них можно судить лишь по отдельным указаниям, сохранившимся в сравнительно более поздних источниках.

О древнейшей цивилизации грузинского народа, свидетельствуют и обнаруженные за последнее время памятники материальной культуры. Их исключительную архаичность, подтверждает внимательное изучение грузинского языка, истории, мифологии и пережитков этнографического быта.

Некоторые сведения о мифологических представлениях грузинских племен и об их фольклоре, наряду с этим содержат и иностранные источники. Согласно же традиции, утвердившейся в древнегрузинских исторических источниках, грузинская литература существовала уже в третьем веке до нашей эры. Говоря о первом царе Картли Парнавазе (из племени Картлоса), древнегрузинская летопись «Картлис Цховреба» сообщает: «Он распространил язык грузинский в Картли, и уже ни на каком языке не разговаривали в Картли, кроме как на грузинском, и он же положил начало грузинскому книгописанию».

Видимо, как грузинскую письменность, так и возникшую на ее основе литературу постигла одинаковая судьба.

С течением времени многие памятники той далекой эпохи, очевидно, окончательно исчезли.

Новая же грузинская культура, возникшая в эпоху раннего средневековья, развивалась в ином направлении. Первым актом на этом пути, имевшем огромное значение, стало объявление христианства официальной религией, что, как известно, произошло примерно в тридцатые годы IV века н. э.

Как и все новое, и этот шаг, разумеется, не был безболезненным. Отражение острой внутренней борьбы довольно ясно видно на страницах древних летописей. Вместе с тем нетрудно предположить, что именно эта обостренная борьба стала одной из главных причин гибели древней культуры. Как и в других странах, в исторической жизни Грузии засвидетельствованы факты, говорящие о том, что новая идеология либо уничтожала, либо усваивала и перерабатывала на свой лад культурные достижения предшествовавших эпох.

Укажем здесь для примера, что своеобразный симбиоз языческих верований и христианской религии до сих пор сохранился у грузинских горцев, а преобразование языческих культов солнца и луны в культы богородицы и святого Георгия в общегрузинских религиозно-символических аспектах глубоко проникло в сознание грузинского народа и сохранилось до самого последнего времени.

Примерно так же обстоит дело и с грузинской национальной письменностью, образцы которой обнаружены лишь начиная с V века.

Здесь возможны только два варианта: возникшая в Грузии христианская литература либо использовала ранее суще-

ствовавшую письменность, либо дала толчок возникновению нового грузинского алфавита.

Вопрос этот — сложен и весьма проблематичен. Теоретически действительно трудно допустить, чтобы грузинские сударства, уже с античной эпохи сформировавшиеся в устойчивые административные единицы, существовали без национальной письменности. Именно это соображение лежало в основе гипотезы, выдвинутой крупнейшим грузинским историком И. Джавахишвили, полагавшим, что грузинский алфавит возник с VII века до н. э., и связавшим его истоки с финикийско-семитическим алфавитом. Ученый ответил также, что, по-видимому, в дальнейшем грузинский алфавит приобрел новые элементы в результате тесных связей с греческим миром: следы этого заметны как в порядке букв, так и в системе гласных.

Будущие исследования и особенно — обнаружение новых фактов, надо надеяться, окончательно решат этот вопрос.

Но одно яснее ясного: пересаженная на грузинскую почву христианская религия выполнила огромную миссию в дальнейшей жизни грузинского народа.

И с общей точки зрения, христианство по сравнению с предшествующими (в данном случае — языческими) религиями подразумевало более высокий идеологический уровень, способствуя нравственному совершенствованию как общества, так и личности на основе принципиально новых идеалов. В конкретных же условиях Грузии оно стало мощной преградой на пути экспансии со стороны стран Востока и в силу этого приобрело ярко выраженное национальное содержание. Следует заметить также, что благодаря этому шагу грузинский народ в перспективе связал свою судьбу с совершенно новым культурным регионом — странами, стремившимися к новой цивилизации.

И наконец, христианство, как религия, породившая богатую литературу, в огромной мере способствовало возрождению и дальнейшему прогрессу просвещения и культуры в Грузии.

Как и следовало ожидать, поначалу развивалась духовная литература во всем своем жанровом многообразии, а позднее в непосредственной связи или же в противопоставлении с ней начинает возрождаться так называемая светская литература, достигшая своего апогея в XII веке.

Созданное именно на заре грузинского христианства «Мученичество Шушаник» положило начало росту и развитию литературы нового типа.

Как и в других странах, где побеждала христианская идеология, в Грузии письменность развивалась первоначально на базе переводов. На грузинский язык переводилось все необходимое для христианского богослужения, и в первую очередь такие основополагающие книги, как Библия, или Священное писание. За этим вскоре последовал подъем многих других отраслей духовной письменности, среди которых с точки зрения развития художественной речи особого внимания заслуживают агнография и гимнография, или духовная поэзия.



Уже с этого времени возникает и оригинальная грузинская христианская литература, первым образцом которой и было «Мученичество святой царицы Шушаник».

По своему направлению — это сочинение агнографического характера. Что же представляет собой агнографическая литература вообще? Поделюсь на этот счет следующими соображениями.

Эта отрасль литературы возникла и развивалась в первые же годы распространения христианства, когда новая идеология прокладывала себе дорогу в борьбе со старой. Борьба эта носила отпечаток так называемого прозелитизма, в ту пору новая идеология должна была обосновать свое превосходство, приобретая все новых и новых последователей. В таких условиях, естественно, особое значение приобретали личный пример, вера и самопожертвование во имя этой веры. Это требовало возникновения специальной отрасли, в которой были бы представлены жизнеописания самоотверженных борцов за христианство — так называемых «святых воинов». Героям агнографических сочинений надлежало стать образцом для подражания либо в силу своей «мученической смерти», либо же «гражданской жизни и деяний», способствуя таким путем становлению христианской идеологии.

Идеал героя и манера повествования, отличающие агнографию от других направлений христианской литературы, уже сами по себе определяли, так сказать, элемент художественности, более или менее характерный почти для всех сочинений этого типа, что для того времени было весьма важным явлением. Грузинская оригинальная агнография развивалась под этим знаком и на протяжении столетий (V—XVIII вв.) обогатила грузинскую литературу многими ценными памятниками. Среди них своими уникальными достоинствами отличается «Мученичество Шушаник» Якова Цуртавели.

Известный французский медиевист Густав Лансон, перечисляя в своей «Истории французской литературы» духовные ценности и достижения культуры средневековья, пишет, что этот отрезок истории человечества не только сам был плодотворен, но и подготавливал будущее. И действительно, средние века, развивавшиеся в основном под знаком христианской культуры, были отмечены огромными сдвигами почти во всех областях художественного творчества.

Как уже было сказано выше, великолепные примеры тому дает и история грузинской литературы, начальный период которой представлен целиком христианскими духовными сочинениями.

Все это уместно вспомнить здесь постольку, поскольку, на наш взгляд, целый ряд весьма спорных положений содержит в этом отношении статья Вахтанга Челидзе, посвященная грузинской агнографии, и в частности «Мученичеству Шушаник» («Литературули Сакартвелო», 1976, № 23).

Автор справедливо критикует работы некоторых исследователей, в которых действительно неверно трактуются отдельные вопросы духовной литературы. В статье тонко подмечены некоторые важные художественные факты, но мне все же труд-

но принять общую концепцию автора по вопросам грузинской духовной, и в частности агиографической, литературы.

В основе статьи лежит убеждение, что «художественность» и «светская литература» — понятия идентичные. Если считать, что точка зрения до конца, то достоинства духовной литературы должны определяться наличием в ней «светских элементов»; именно так и представлено дело в упомянутой статье.

Да простит нам ее автор, но мы считаем, что такая позиция сужает как реальное содержание духовной литературы, так и само понятие «художественности».

В масштабах мировой культуры духовная литература, основанная на христианской идеологии, представляет весьма своеобразное явление, знаменующее определенный этап культурного развития человечества. В отличие от античности христианская культура выдвинула на передний план проблемы личного совершенства человека и новые категории нравственности. Именно этим путем, как уже было сказано, развивалась духовная литература, заложившая основы своеобразного эстетического идеала человечности.

Игнорируя подобные специфические моменты (для подробного рассмотрения которых здесь, разумеется, нет места), мы грубо нарушим историческую перспективу и не сможем постичь духовных ценностей прошлых эпох, а духовная литература с ее разнообразными отраслями, благодаря такому пониманию «художественности», останется фактически за пределами художественной литературы. Насколько обедненным окажется в результате подобной оценки, например, такое поэтическое творение, вдохновленное глубокими душевными переживаниями, как «Песня покаяния» Давида Строителя, не говоря уже о других произведениях!

Спорной представляется также строгая оценка автором статьи агиографического жанра (это подчеркивается уже названием — «Рамки»). Мы считаем, что именно агиографический жанр, несмотря на определенную трафаретность, но благодаря своему основному требованию (герой и «правдивое описание»), в наибольшей мере способствовал, наряду с другими жанрами духовной литературы, превращению факта жизни в явление искусства; но даже если бы это было не так, нам надлежит помнить о двустороннем характере отношений между самим жанром и художественным замыслом писателя. Жанр придает определенное направление творческим усилиям, но для истинного художника в конечном счете он никогда не становится оковами; по образному выражению одного известного литератора, второразрядные писатели возводят жанровые бастионы, штурм которых — лишь удел избранных...

Одним из примеров тому — «Мученичество Шушаняк», автор которого, хотя и учитывает некоторые необходимые для агиографического сочинения компоненты, фактически решает гораздо более масштабную художественную задачу, о чем подробнее речь пойдет ниже.

— Великие и бурные эпохи порождают великие и страстные таланты — эта несомненная истина неоднократно подтверждалась в истории духовной культуры человечества.

В жизни грузинского народа одной из таких эпох было именно V столетие. Грузия, ставшая ареной столкновения интересов двух великих государств — Ирана и Римской империи, искала пути к собственному спасению.

Как известно, первым героем борьбы за сохранение самостоятельности своей родины стал в те времена Вахтанг Горгасал, деятельность которого отмечена тремя важнейшими моментами, имевшими эпохальное значение:

1. Непримируемая борьба против иранской агрессии, в ходе которой Вахтангу Горгасалу удалось объединить с грузинами другие народы Кавказа, в том числе и армян. Вместе с тем он ориентировался на низшие слои народных масс, поддержавших отважного царя в его борьбе с изменниками-феодалами.

2. Утверждение новой идеологии, ставшей под знаменем христианства мощным орудием борьбы против иранской идеологии (в частности маздеизма).

3. И наконец, смелый политический шаг: перенесение столицы Грузии из Мцхета в Тбилиси, значение которого было полностью оправдано дальнейшим ходом истории.

Боевой, непримиримый дух этой эпохи ощущается и на страницах сочинения Якова Цуртавели «Мученичество Шушаник».

На первый взгляд автор ставит своей целью детально описать заслуги царицы Шушаник перед христианской религией, что составляет основную задачу каждого агиографического сочинения.

Однако фактически здесь представлено широкое историческое полотно, основной мотив которого — резкое противопоставление двух враждебных политических и идеологических сил.

Действие разворачивается в одной из провинций Южной Грузии, непосредственно граничившей с Ираном. Правитель (питиахш) этой провинции Варскен олицетворяет проиранскую ориентацию и фактически становится на путь измены национальным интересам своего народа. Именно такие агрессивные устремления были свойственны иранским шахам, искавшим поддержки среди предателей-феодалов (это было издревле испытанным приемом, и, к сожалению, в дальнейшей истории Грузии известно немало подобных примеров). Варскен, видимо, по наущению иранского шаха, отрекается от христианства и исповедует языческую религию — огнепоклонство или маздеизм. Слепленный щедрыми подарками и еще более щедрыми посулами, он обещает шаху и всех членов своей семьи обратиться в маздеизм. Совершенно ясно, каким примером должен был послужить этот шаг для управляемой им страны. Это было не только идеологическое, но и прежде всего — политическое предательство, явно направленное на подрыв национальной независимости страны.

В такой острой ситуации олицетворением силы, противостоящей этой губительной тенденции, выступает супруга Варскена — царица Шушаник, возложившая на свою голову мученический венец и решительно восставшая против мужа —

предателя своей семьи и родины. Однако автор, удивитель- тонко чувствующий историческую перспективу, не ограничива- ется этим и в эпизодах, написанных с большой художествен- ной силой, показывает огромную степень воздействия мужни- ческих подвигов Шушаник на пробуждение национального са- мосознания. Он изображает то всеобщее сочувствие, которое вызвал у народа подвиг Шушаник. Например, когда разъярен- ный мужественной стойкостью своей жены Варскеи приказал заточить в темницу покинувшую дворец и уже дважды жестоко избитую Шушаник, а сам, сидя верхом на коне, возглавлял эту позорную и унижительную процессию, народ не поддержал свое- го повелителя: «Святую Шушаник сопровождала громадная толпа, бесчисленное множество мужчин и женщин. Они, следуя за нею, плакали громко, царапали себе щеки и проливали горь- кие слезы». В другом эпизоде показано, как возвысилась в гла- зах народа царица, самоотверженно боровшаяся за свою стра- ну и веру: «С тех пор про нее стали говорить по всей Картли. Приходили к ней мужчины и женщины с обильными, заранее обещанными приношениями, при этом каждый, по молитвам блаженной Шушаник, получал от человеколюбивого бога то, в чем он нуждался: бездетные — детей, больные — исцеление, слепые — прозрение».

Благодаря такому художественному приему личная траге- дия обретает общенациональное звучание. Несомненно, именно к этому и был направлен основной замысел автора.

Яков Цуртавели целиком и полностью разделяет позицию великого патриота и государственного деятеля Вах- танга Горгасала (царь жестоко наказал Варскена в 483 году за измену родине). Яков, таким образом, положил начало той национальной концепции грузинской литературы, которая в дальнейшем укреплялась в единой борьбе за веру и отечество. Пройдет время — и уже в VIII веке Иоани Сабанидзе пригвоздит к позорному столбу предателей веры и родины, подавшихся соблазну, которому подвергли их «господствующи- е над нами, живущие на краю света сего хозяева настоя- щего времени, отступники от Христа, коварным своим учени- ем», и гневно воскликнет: «Некоторые из верующих, пора- бощенные насилем, скованные как бы железом, бедностью и нищетой, мучимые и изнывающие под тяжестью их дани, без- жалостно истязуемые, подавлены страхом и колеблются, как тростник от сильного ветра».

Однако ни эта концепция, сама по себе исключительно прогрессивная, ни рассмотренный выше идеологический кон- фликт, вероятно, еще не могли бы послужить достаточным ос- нованием для создания подлинно художественного произведе- ния, обладающего всегда несравненно большей силой эмоцио- нального воздействия.

Яков Цуртавели перенес всю тяжесть конфликта на внут- ренний, духовный мир своих персонажей и показал читателям глубокую, полную противоречий психологическую драму, имею- щую к тому же глубокие социальные истоки.

Предательский поступок Варскена, обусловленный его политической и гражданской близорукостью, грозит полным разрушением семье, основанной на совершенно иных нравственных принципах, супружескому союзу Шушаник и Варскена (маздеизм допускал многоженство, и шах даже предложил Варскену свою дочь в жены).

И действительно, в образе Шушаник, созданном Яковом Цуртавели, естественно сливается воедино общественная и личная трагедия, обуславливая исключительную остроту коллизий в этом произведении.

Именно здесь возникает то, что позволяет «Мученичеству Шушаник» выйти далеко за границы обычного агиографического сочинения. Действительно, большинство агиографов как в Грузии, так и в других странах (например в Византии) использовали исторические факты и события жизни конкретных исторических лиц в качестве материала, и это до некоторой степени сближает их с древними летописцами, хотя, конечно, ими двигали совершенно другие соображения.

Яков Цуртавели, как мы видели, избирает тот же путь и строит свое повествование на фактах жизни конкретных исторических личностей, хотя убедительность этого повествования возрастает благодаря тому, что сам он — непосредственный участник описываемых событий.

Агиографическая литература, однако, выработала идеальный образ самоотверженного борца за веру, «святого». Образцовым же примером для создания такого идеала, как и следовало ожидать, явился самый первый мученик — распятый Христос. Поэтому главная цель агиографа состояла в том, чтобы максимально приблизить образ описываемого святого к этому первообразу, ставшему идеалом. Этим объясняется стремление агиографов приписывать своим героям только такие черты, которые сближали их с первообразом, тогда как индивидуальные человеческие качества их они, как правило, оставляли без внимания. Это была определенная художественная модель, ставшая своеобразным штампом, трафаретом. В результате стиль агиографических произведений приобрел известную абстрактность, а герои их превратились в безжизненные литературные схемы, лишенные индивидуальных качеств, и как две капли воды походили друг на друга.

Выдающаяся заслуга Якова Цуртавели состоит именно в том, что он (по какой причине — это уже особый вопрос) почти ни в одном пункте не подчиняется этой схеме, хотя руководствуется той же самой целью (создать образ самоотверженного мученика за веру). Освобождение же от власти схемы для литературы раннего средневековья было единственным реальным путем к созданию подлинно художественного произведения. Именно с этой точки зрения «Мученичество Шушаник» стоит у самых истоков грузинской художественной словесности и автор его по справедливости считается создателем оригинальной грузинской повести.

Из глубины далеких столетий смотрят на нас печальные глаза женщины, борющейся за утверждение возвышенных нравственных идеалов и принципов. Она не имеет почти ничего

общего с обычным литературным героем агиографии, для которого главная черта характера — безразличие к страданиям и радостное предвкушение приближающейся смерти.

Глубоко оскорбленная безответственным поведением мужа, молодая женщина с фанатическим упрямством идет навстречу ужасным мучениям. Представительница высших кругов общества, царица, воспитанная в неге и роскоши (она была дочерью армянского военачальника, между прочим, непримиримого врага иранцев, Вардана Мамиконяна и с детства воспитывалась в Грузии), готова стойчески перенести любые унижения, страдания и муки.

Художник-агиограф создает многомерный образ Шушаник, рисует ее характер яркими индивидуальными штрихами. Если, в соответствии с требованиями агиографического стиля, Шушаник, с одной стороны, «блаженная», «святая», «невеста и рабыня Христа», то, с другой стороны, ей ничто человеческое не чуждо, она далеко не безропотно, как обычная святая, встречает обрушившееся на нее несчастье. Ей не чужды чрезмерная вспыльчивость и несдержанность. С исключительной живостью описан эпизод, в котором Варскен пытается хитростью и коварством примирить с собой Шушаник и приглашает упрямую царицу вкушать пищу вместе с его братом и невесткой. Варскен ставит этот необычный спектакль — совместное вкушение пищи женщинами и мужчинами, — и Шушаник прекрасно догадывается о его подлинном смысле и назначении. От возмущения она теряет контроль над собой и швыряет стакан с вином в лицо жене Джоджика, брата Варскена, которая фактически ни в чем не повинна и стала невольной пособницей замысла Варскена, пытавшегося таким способом смягчить сердце Шушаник.

Образ Шушаник поразительно динамичен и развивается на протяжении всего произведения, что также было необычно для агиографического литературного героя — статичного и с самого же начала завершенного в себе. Ее образ внутренне противоречив, и в борьбе этих противоречий формируется характер стойкого борца и мученика. Она со всей настойчивостью борется за торжество своих принципов и трезво встречает любое ниспосланное ей испытание, но в эмоциональном отношении на каждом шагу проявляет неусыпаемое жизнелюбие. Мы становимся очевидцами и как бы даже соучастниками непрерывной борьбы чувства и рассудка, мы ощущаем биение сердца молодой женщины, влюбленной в жизнь и прощающей ее с нею.

Вместо радостных восклицаний горькая печаль слышится в упреке Шушаник: «Да воздаст господь ему (Варскену), ибо он преждевременно собрал плоды мои, погасил светильник мой и засушил цветок мой, прелесть красоты моей омрачил и славу мою унизил. Пусть бог будет судьей между мною и им».

В повести постепенно пробивает себе дорогу и формируется вторая тема, которая также выходит за рамки религиозной проблематики. Она имеет социальное звучание и развивается на фоне острого семейного конфликта. Как мы уже говорили выше, гнев Шушаник, проявляющийся в формах явного аф-

факта, вызван и нарушением нравственных принципов семьи. Об этом автор как будто ничего не говорит, но описываемые перипетии сами по себе дают нам почувствовать, что в душе Шушаник вздымается ранее неведомая волна — волна ревности. Не сегодня завтра у нее появится соперница в лице новой жены Варскена. Глубоко задето ее женское достоинство, и примириться с этим у нее нет сил. Вот одна из психологических причин ее несдержанности в поступках, и Якову Цуртавели, как правильно отметил И. Джавахишвили, даже в голову не приходит скрывать это.

Главное, однако, в том, что ревность возникает здесь не только с одной стороны. Неповиновение со стороны Шушаник Варскен считает оскорблением своей чести и достоинства семьи. Когда предпринятые им дипломатические ходы не смогли пресечь этого неповиновения, он прибегает к самым диким мерам, с таким потрясающим реализмом описанным в произведении. Именно здесь читатель чувствует, что в глубине души что-то беспокоит Варскена еще сильнее. (Этот момент хорошо подчеркнут в статье Тамаза Чиладзе о «Мученичестве Шушаник».) Это станет ясно, если внимательно прочитать один из эпизодов «Мученичества». К заключенной в темнице после жестоких побоев Шушаник питиахш обращается с новым ультиматумом: «Или выполни мою волю и возвращайся во дворец, или же, если не вернешься, отправлю тебя на осле в Чору или ко двору царя (персидского)». Однако Варскен сразу же отказывается от этой угрозы: «как бы там она не стала женою какого-нибудь князя».

Это — действительно характерная деталь, в которой раскрывается весь трагизм ситуации. Ненависть и любовь здесь словно сменяют друг друга. В основе трагедии лежит разница в выборе, сделанном мужем и женой, проявляющаяся в их различных общественных позициях, обусловивших неизбежность их разрыва.

Варскен представлен в повести как предатель родины и вероотступник, нравственно низкий человек, разрушивший семью. Автор не скупится на соответствующие эпитеты и метафоры для создания этого образа («волк тот», «нечестивый Варскен», «нечестивый, трижды жалкий и вконец обреченный Варскен» и т. п.).

Чувство художественной правды, однако, и здесь не изменяет Якову, и при создании образа Варскена он использует не только темные краски. Варскену не доставало гражданской стойкости, и он поддался соблазну, изменил национальной и религиозной позиции. Став фактически орудием в руках могущественного врага, он противопоставил себя собственному народу, семье и близким. По мнению Якова, Варскен — слабый человек, но он все-таки человек, который в другой ситуации, хотя это его не оправдывает, возможно, не пал бы так низко. Поддавшись соблазну, Варскен то страшно свирепствует, то испытывает угрызения совести (избив Шушаник в первый раз, он, как видно, всю ночь не спал, а утром, как будто выйдя из «стрессового» состояния, спросил о состоянии своей жены: «Как она чувствует себя от ран?»). Иногда он да-

же пытается скрыть свои поступки от окружающих, чтобы не заслужить всеобщей ненависти, но приговор, вынесенный ему народом, непоколебим, и именно это совершенно точно показал автор произведения.

Представленная в повести художественная картина тем не менее не исчерпывается этими двумя поразительно живо нарисованными главными персонажами. Здесь изображена целая галерея действующих лиц и почти для каждого из них найден свой характерный ракурс, специфическая черта натуры.

Достаточно вспомнить здесь брата Варскена — Джоджика и его покорную жену. Они (вероятно, вопреки воле Варскена) поддерживают страдающую царицу и всячески пытаются облегчить ее горькую участь. Джоджик не остановился даже перед прямым вмешательством, когда Варскен стал избивать царицу, вплоть до того, что и ему достались побои от него. Джоджик все же не в силах принять решительные меры для защиты царицы, хотя и неоднократно спасает ее от еще больших побоев: ведь тогда он должен пожертвовать собственным братом, к тому же — своим патроном. Это бессилие и вызванные им страдания Яков изображает несколькими характерными штрихами. Особенно хорошо видно это в эпизоде прощания Джоджика и его жены с замученной царицей, когда они просят ее отпустить им грехи.

Характерен также малозначительный, как будто эпизодический образ некоего перса, который не разделяет грубую политику Варскена и пытается показным сочувствием и мягкостью (он, кстати, и Варскену советует то же) осуществить свой коварный замысел — склонить к примирению покинувшую дворец царицу. Такие моменты порождают ощущение разностороннего восприятия многообразной действительности и говорят о врожденной беллетристической одаренности автора. От его внимательного глаза не ускользают совершенно незначительные на первый взгляд детали, точно отражающие все существенное и характерное, и он включает их в произведение всегда уместно и оправданно, создавая поразительно правдивую, реалистическую картину.

Варскен посылает Якова отобрать у Шушаник ее драгоценности и добавляет при этом, что найдется другая, которая наденет их. Автор дважды вкладывает эту фразу в уста Варскена, чтобы подчеркнуть главное: Варскен всячески пытался взволновать царицу, возбудить ее ревность, внушить Шушаник, что, если она не вернется добровольно во дворец, у нее скоро появится счастливая соперница. Шушаник, естественно, не поддавалась на эту уловку и дала питахшу достойный ответ.

Страх, который внушал всем разъяренный Варскен, подчеркивается в эпизоде, повествующем о том, как Шушаник из дворца отправили в крепость. Один дьякон попытался в этот момент подбодрить царицу, но, заметив, что Варскен смотрит на него, оборвал фразу на полуслове и в испуге бежал отсюда. Эта деталь подчеркивает, что лишь Шушаник не убоилась Варскена и стойко встретила все испытания и все мучения.

Такой же конкретный характер носит и общий стиль авторского повествования. Здесь нет излишней отвлеченности или



обычно сопутствующей произведениям подобного типа чрезмерной патетики, хотя при необходимости Цуртавели не избегает возвышенных художественных характеристик. Его фигуральные выражения точны и целенаправленны. Он и при этом старается не пользоваться стереотипами и берет материал прямо из действительности. Оригинальность его метафор и художественных эпитетов, на наш взгляд, достаточно ясно видна из характеристики основных персонажей. Описывая физическую беспомощность Шушаник и ярость Варскена во время одного из их столкновений, автор говорит: «Джоджик с трудом отнял ее у него, как ягненка у волка». А какая живая картина нарисована автором, когда он описывает, как близкие друзья проводжали погибшую от мучений царицу к могиле: «Тогда оба епископа, Афоц и Иоани, как два сильных запряженных вола с небесной кладью, со всем собранием вместе, подняли честные ее останки и с пением духовным, зажженными свечами и каждением благоуханий вынесли во святую церковь».

Автор стремится не только показать, но и обосновать правильность выбора Шушаник и неразумность поступков Варскена, оскорбившего к тому же национальные традиции своих предков. Он произносит эти слова осуждения устами Шушаник, причем здесь речь ее имеет риторический характер и построена на художественных контрастах: «Отец твой (имеется в виду отец Варскена, литиахш Аршуша) ввел в дом свой святых, ты же ввел дэвов, он исповедал бога небес и земли и веровал в него, ты же отказался от бога истинного и поклонился огню. Как ты отверг бога, создавшего тебя, так я отвергаю тебя».

В свое время И. Джавахишвили детально рассмотрел исторический фон «Мученичества Шушаник» и его богатое историческими реалиями повествование (фактически здесь развернута историческая панорама V века и представлены уникальные сведения) и одним из первых отметил склонность Якова Цуртавели к правдивости и непосредственности повествования, что, по его мнению, для такого произведения было большой редкостью. Исследователь подчеркивал, что «это «Мученичество» особенно привлекает внимание искренностью, непосредственностью и естественностью, которыми от начала до конца проникнуто все повествование Якова Цуртавели».

Теперь уместно снова вернуться к вопросу, которого мы в самых общих чертах коснулись выше. Речь идет о соотношении этого произведения с так называемой типичной агнографической литературой.

По нашему глубокому убеждению, художественный анализ произведения сам по себе выявляет основной аспект этого соотношения. «Мученичество Шушаник» явно отходит от схемы, разработанной задолго до того в агнографической литературе. Это объясняется не только высокой одаренностью автора как писателя, но и другими причинами.

Как известно, агнография с ее основными канонами достигла своего наивысшего развития в византийской литературе. Видимо, однако, она подвергалась значительным изменениям, попадая в новую среду и, в частности, когда распространи-

лась в Грузии одновременно с возникновением и развитием христианской литературы в этой стране.

Грузинская агиография на ее раннем этапе, судя по всему, не шла по проторенным путям, не разделяла всех тех форм, которые в уже застывшем виде представлены в византийской литературе. Кстати, аналогичное явление отчасти наблюдается и в грузинской гимнографии и настенной живописи, не говоря уже о других видах искусства. Средневековая грузинская архитектура и настенная живопись, несмотря на определенные связи с византийским искусством, не являются точной его аналогией. Сегодня это можно считать общепризнанным фактом. Действительно, «параллельное изучение настенной живописи открывает нам весьма своеобразную картину развития грузинской монументальной живописи того же периода (имеется в виду раннефеодалная эпоха). Своеобразие выражается в том, что она несколько отходит от путей развития византийского искусства» (Т. Вирсаладзе). Это своеобразие, подтверждающееся в других видах искусства, теснейшим образом связано с социальными и политическими условиями Грузии. Следует заметить, что такая точка зрения на грузинское искусство была подтверждена новыми материалами в докладах как грузинских, так и зарубежных ученых на II международном симпозиуме по грузинскому искусству, проведенном в Тбилиси в 1977 году. Среди этих работ следует особо отметить доклад Шарля Дельвауа на тему «Архитектура Грузии и архитектура Византийской империи в древнехристианскую эпоху».

Этот самобытный характер древней грузинской литературы, подразумевавший наряду с другими факторами и существование определенных традиций, не остался незамеченным исследователями. Когда И. Джавахишвили выдвинул гипотезу о «грузинском ренессансе», получившую в настоящее время столь широкое распространение, от его внимания не ускользнула демократическая струя, выраженная в грузинской агиографии. Именно поэтому автора классического грузинского агиографического памятника «Житие Григория Хандзтийского» он считал представителем «нового направления».

Очень важное указание на традиции древней, причем именно дохристианской культуры содержится в следующих словах Геронтия Кикодзе, касающихся непрерывности античных традиций: «Неудивительно, что в грузинской классической литературе ощущается дыхание эпохи Ренессанса и гуманизма. Ренессансный характер имеют широта ее интеллектуального горизонта, ее интерес к реальной, земной жизни и классической культуре, ее беспокойный, ищущий дух».

Именно под таким углом следует рассматривать и творение Якова Цуртавели, которое лежит у истоков художественной прозы более широких масштабов. «Мученичество Шушаник» — произведение, возникшее на грузинской почве, и в нем, судя по всему, учитывается художественный опыт, накопленный отечественной культурой того времени. Конечно, решающую роль в освоении этого опыта сыграли верное историческое чутье и художественная одаренность автора.

В начале нашего столетия крупнейший знаток христианской литературы, немецкий ученый Гарнак, познакомившись с работой Н. Я. Марра «Предварительный отчет о работе в Иерусалиме и на Синае», с удивлением писал о неизвестных до того богатых традициях грузинской культуры. Стало ясно, что для новаторского изучения мировой христианской культуры следует учитывать достижения грузинской духовной литературы.

Сравнительное изучение позволяет выявить не только самобытный характер грузинской культуры, о чем уже говорилось выше на примере различных отраслей грузинской литературы и искусства, но и ее глубокие связи с культурой близлежащих народов. В частности, грузинская литература, особенно в эпохи ее наивысшего расцвета, никогда не стояла в стороне от основных процессов мировой литературы, поскольку культурная изоляция никогда не приносила хороших плодов.

Подтверждением этому может служить опять же «Мученичество Шушаник», и поныне поражающее высокопоэтическим мастерством повествования. В упомянутой выше статье Тамаз Чиладзе правильно заметил, что мы направили бы это произведение в гораздо более упрощенное русло, если бы игнорировали глубинные пласты и подтексты (автор указал на несколько таких мест в произведении).

Не следует, между тем, полагать, что это составляет исключительное преимущество Якова Цуртavelи и что на пути преодоления сложностей он не имел предшественников.

Эрих Ауэрбах в своей блестящей работе «Шрам на ноге Одиссея» (см. его книгу «Мимезис») делает чрезвычайно важное заключение, основанное на эпических памятниках античности (особенно «Одиссее» Гомера) и Священном писании — этом первейшем источнике для средневековой литературы.

В результате сопоставления выявлено принципиальное различие. Повествование Гомера основано на конкретной наглядности, его картины пластичны, а рассказ имеет описательный характер и содержит множество отступлений (причем со включением ретроспективных эпизодов), и главное — все это происходит на наших глазах, на переднем плане.

Чтобы показать разные уровни повествования, исследователь берет в качестве образца эпизод из Библии, в котором рассказывается о жертве, принесенной Исааком. В прогивоположность стилю гомеровского повествования здесь не видно, например, как явился бог Аврааму, где находится он — в Вирсавии или где-то в другом месте, в помещении или под открытым небом. Рассказчика это не интересует, и читатель на это не обращает внимания. Остается невыясненным также, что делал Авраам в те минуты, когда бог его позвал. Вспомним (чтобы различие стало более ощутимым), как Гермес является нимфе, которую зовут Калипсо. Здесь даваемое поручение, путешествие, прибытие, встреча с вестником Зевса Гермесом и действия Калипсо излагаются детально на протяжении многих строф. Так бывает и в тех случаях, когда боги появляются неожиданно, во «мгновение ока», чтобы помочь своим избранникам или соблазнить и погубить какого-нибудь ненавистного им смертного. Как правило, обстоятельства их появления или исчезнове-

ния изображаются точно и детально. В Библии же здесь (в сцене принесения жертвы), как и в других эпизодах, бог является вне какого-либо конкретного образа (и все-таки «является»); он является из таинственного мира, и мы слышим лишь его голос, причем голос этот произносит только имя — безо всяких пояснений и эпитетов, без описания той личности, к которой обращены эти слова, что для Гомера в аналогичной ситуации совершенно нехарактерно. И образ Авраама не представлен с конкретной наглядностью; слышны только слова, которыми он отвечает богу: «вот я» (I книга Моисея, 22). — поскольку слова эти дают нам почувствовать впечатляющий жест, в котором — и покорность, и готовность (ведь Авраам согласен принести своего любимого сына как жертвенного агнца на алтарь бога). Завершение же картины представляется воображению самого читателя. При восприятии этого диалога (бог — Авраам) лишь одно осознается конкретно и наглядно: это — краткие, отрывистые слова, произносимые как бы безо всякой подготовки и резко противопоставленные друг другу. Следует сказать также, что в это время возникает ощущение движения, выражающего рабскую преданность, а все остальное покрыто мраком.

Мы не знаем, в каком пространственном положении находится во время этой острой ситуации фигура самого Авраама: стоит ли он на коленях, повергнут ли ниц или же, воздев руки к небесам, взывает к богу. Одно ясно — он находится на переднем плане, тогда как глас божий доносится откуда-то из потустороннего мира.

Здесь и везде в тех эпизодах, которые приводит исследователь из Священного писания, центр тяжести перенесен на движения души, на намеки, на чередование реального и мистического планов. Такой стиль повествования носит универсальный характер и передается по наследству всей средневековой литературе.

Пример «Мученичества Шушаник» также показывает, что и грузинская духовная литература творчески усвоила это действительно величайшее достижение в истории художественной мысли.

Выше мы отметили сделанное Тамазом Чиладзе указание на подтексты, засвидетельствованные в «Мученичестве Шушаник» и проистекающие, на наш взгляд, из Библии. Здесь же следует заметить, однако, что иногда эти указания отходят от текста и похожи больше на собственные предположения автора статьи. Фактически он предлагает собственный вариант противостоящих сил, далеко отходящий от того, который представлен или предполагается в тексте. Так, неправомерно объявлять Якова слепым орудием Варскена или же помещать епископа Афоца в его лагерь. Вспомним, как охарактеризован Афоц в конце повести: когда Иоанн и Афоц несут к могиле прах царицы, они выглядят «как два... вола с небесной кладью». Царица же до этого именно Афоцу вручала свою душу «по сочувствию его» и, между прочим, поручила ему в будущем помогать ее духовнику Якову. Безосновательными кажутся сомнения в искренности брата Варскена — Джоджика и т. д. Вы-

зывает сомнение также вся та часть статьи, где говорится о том, что в произведении Якова, где-то в самой глубине его, ощущаются целеустремленные действия Вахтанга Горгасала, жертвой которых стала Шушаник, — действия, направленные на окончательную дискредитацию Варскена в глазах народа. Между прочим, действия персонажа из-за сцены — распространенный прием, встречающийся также в библейских книгах. Один пример такого рода приводит из жизни библейского царя Давида тот же Эрих Ауэрбах в упомянутой книге. Давид не находится на поле битвы, но во всем чувствуется его направляющая воля, как бы просвечивающая между строк. Это действительно так в указанном эпизоде Библии, но, по моему мнению, «Мученичество Шушаник» не содержит ни малейшего намёка на подобные действия Вахтанга. Автор статьи мог бы подумать и о том, что, судя по грузинским источникам, Вахтанга в то время вообще не было в Грузии и он вернулся на родину примерно к 480 годам, когда трагедия, о которой рассказывает в «Мученичестве Шушаник», уже завершилась. Жив был только Варскен, которого Вахтанг, судя по тем же источникам, предал смертной казни, исполнив тем самым приговор народа.

Не только великую лайну подтекстов, относящуюся к области художественной стилистики, но и неисчерпаемые запасы достижений художественной мысли завещали духовной литературе авторы библейских книг. Если истинно художественное творчество есть вместе с тем энциклопедия человеческих страстей и движений души, то указанные книги и их достойная наследница — духовная литература дают великолепные примеры этому. Таким образом, не может считаться случайным, что впоследствии великое художественное движение, поставившее своей целью опять-таки выявить глубочайшие пласты человеческой души, обратилось именно к христианской духовной литературе. Мы имеем в виду романтическую поэзию, где эта тенденция во всемирных масштабах приобретает универсальный характер (достаточно напомнить грузинских романтиков, заметив при этом, что отношение Н. Бараташвили к грузинской духовной литературе прекрасно показано в грузинском литературоведении).

Наряду с собственными традициями, как уже было сказано, дошедшие до нас памятники древнегрузинской литературы характеризуются исключительной широтой горизонта и масштабностью.

Н. Марр, который, кстати, одним из первых отметил определенный вклад грузинской духовной литературы в разработку художественного стиля письменности светской, еще в 1910 году отмечал широкую масштабность классической литературы. В своей специальной работе, посвященной одному из крупнейших грузинских неоплатоников (точнее было бы применить здесь термин «ареопагитика») Иоанну Петрици, он писал, что грузины уже с XI—XII вв. (если не ранее) в области философии занимались исследованием тех же вопросов, которые интересовали мыслителей передовых христианских стран той эпохи как на Востоке, так и на Западе. В этом случае они отличались от других, а именно от европейцев, тем, что в ту эпо-

ху грузины раньше других откликнулись на новые направления философской мысли и были вооружены передовой по тем временам критикой, имевшей своим предметом рассмотрение творений греков непосредственно в оригинале.

Отрадно, что эта разносторонность грузинской культуры постепенно получает признание и в зарубежных научных кругах. Такой крупный специалист по мировой поэзии, как Морис Боура, основательно познакомившись с художественным миром Шота Руставели, пришел к выводу, что великий грузинский поэт, подобно Данте, глубокими корнями связан с мировой культурой средневековья, однако автор «Витязя в барсовой шкуре» в равной мере опирается на духовный опыт Востока и Запада. И все же главное состоит в том, что Шота Руставели «идет по собственному пути» («Inspiration and Poetry», Лондон, 1955, с. 55.).

Такая позиция, как видно, с самого же начала была характерна для грузинской литературы, в том числе и для древнейших ее памятников. Как своеобразная культурная традиция, она была унаследована грузинской литературой последующих эпох. Без этого она неизбежно оказалась бы замкнутой в тесных рамках провинциализма.

Мировое литературоведение на современном этапе ставит перед собой именно такие задачи. Типологическое исследование обязывает учитывать, как известно, конкретный вклад того или иного народа на фоне общих процессов; это, несомненно, должно обогатить наши представления о реальных причинах мирового культурного движения. В связи с этим академик Д. С. Лихачев совершенно справедливо указывает: «Мы должны прежде всего изучать своеобразное и неповторимое, «индивидуальность» народов и прошлых эпох. Именно в разнообразии эстетических сознаний их особенная поучительность, их богатство и залог возможности их использования в современном художественном творчестве» («Поэтика древнерусской литературы», 1967, с. 370).

В высшей степени национальное произведение «Мученичество Шушаник», созданное на заре грузинской культуры, ставит целый ряд вопросов, весьма актуальных и с вышеуказанной точки зрения. Оно еще раз свидетельствует о том вкладе, который принадлежит грузинскому народу в историю мировой культуры.

Перевод Сергея СЕРЕБРЯКОВА



Валдис КИКАНС

# ОЦЕНКА «СОСТОЯНИЯ МИРА И ЧЕЛОВЕКА»

(ПРОБЛЕМА ЛИРИЧЕСКОГО И ЭПИЧЕСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭМЕ)

Во все времена самый древнейший вид<sup>1</sup> литературы — поэма объединяла в себе два начала: эпическое и лирическое. Поэтому и вполне закономерно данное ей теорией литературы определение лироэпики.

Определение же драматическая<sup>2</sup> поэма или даже поэма-драма лишено научного обоснования, так как драматический способ изображения представляет по сравнению с лироэпическим другой род литературы.

С древнейших эпосов до новейшей современной поэмы в этом виде литературы субъектом речи является автор. В произведениях же драмы субъект речи — персонаж, и точка зрения автора, его концепция никогда не выражается от первого лица.

Термин драматическая поэма можно рассматривать лишь как условное определение напряженного конфликта, драматизма, почти всегда присутствующих в поэме.

Поэма всегда являлась видом литературы, создающим мирокартину (картину состояния мира) своего времени, т. е. глу-

<sup>1</sup> По концепции автора этой статьи, поэма является литературным видом, существующим тысячелетиями — с времен древних эпосов. Жанры являются историческими вариантами поэмы.

<sup>2</sup> В новейших исследованиях современной поэмы: Р. Пакал-нишкис, Поэзия. Личность. Время, Вильнюс, 1969 (на литовском яз.); И. Аузинь, На границах жанров, — «Дружба народов», 1973, № 7; В. Огнев, О патриотизме, истории и нравственности. Ю. Марцинкявичюс, Поэмы, М., 1973 — в вид поэмы включена историческая трагедия Ю. Марцинкявичюса «Миндаугас» и др. произведения драмы.

бокое отражение существенных процессов и проблем определенной общественной формации, определенного племени, народа, нации, и в современной поэме — всего мира.

Значит, поэма всегда связана с объективным, эпическим отражением действительности; понятия поэма и эпическое неразоторжимы. Внешне подобные явления — разные повествования в стихах; рассказ, новелла, даже роман в стихах могут иметь совершенно другие задачи: более узкие, «локальные». Задача теории поэмы — указать на них, не забывая определяющих особенностей ее вида.

Остается в силе определение поэмы, данное В. Г. Белинским: «В новейшей поэзии есть особый род эпоса, который не допускает прозы жизни, который схватывает только поэтические, идеальные моменты жизни и содержание которого составляют глубочайшие мирозерцания и нравственные вопросы современного человечества. Этот род эпоса один удержал за собою имя «поэмы» (Полн. собр. соч., т. 6, 1955, с. 415).

Если в древнейшем эпосе происходит циклизация сказаний и песен вокруг всенародно-исторического события, то сегодня в поэме факты, мотивы, литературные и другие реминисценции ассоциативно циклизируются «вокруг» существенно важной проблемы.

Лирическая поэма — это традиционное определение жанра поэмы с лирическим героем в центре, изображающей по сравнению с эпической поэмой более узкий круг жизненных проблем, с прямо выраженным авторским отношением к изображаемому, с преобладанием лирического пафоса.

Возникнув как закономерное явление развития романтизма, лирическая поэма (поэмы Байрона, Пушкина, Лермонтова, Бараташвили) в истории вида поэмы ознаменовалась как жанр концептуальный, как выражение авторского кредо: его миропонимания, эстетического идеала в личностном, лирическом пафосе. По сравнению с объективным отображением мира в древнем эпосе и в значительной степени в реалистической поэме лирическая поэма утверждает жанровой доминантой субъективное восприятие и оценку действительности.

Эта субъективность и концептуальность жанра передается потом и реалистической поэме — как лирической, так и эпической; эти качества унаследовала и современная поэма.

На мой взгляд, лирическая поэма и эпическая (нового времени) — это не два композиционных типа, отличающихся, как трактует традиционная поэтика, сюжетом (в эпической — связанные между собой события, в лирической — ассоциативный ход авторской мысли) и системой образов (в эпической — объективированные характеры, в лирической — лирический герой), а два типа отражения с более узким (лирическая) и с более широким (эпическая) изображением действительности, например: «Мцыри» и «Демон» Лермонтова, «Цыганы» и «Медный всадник» Пушкина, «Железная дорога» и «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова и т. д.

Еще более четко эта закономерность проявляется в поэме XX века, например, в «Соловьином саду» и «Двенадцати» А. Блока, «Облаке в штанах» и «Владимире Ильиче Ленине»



Маяковского, «Доме у дороги» и «За далью даль» А. Твардовского, «Зое» Н. Хикмета и «Зое» М. Алигер, «Поэме огня» «Крови и пепле» Ю. Марцинкявичюса, «Цирке» и «Поэме любви» О. Чиладзе, «Голосе без сопровождения» и «Эйнштейниаде» О. Вацетиса и т. д.

Другими словами — лирический способ изображения доминирует в поэме, начиная с романтической поэмы, независимо от формы сюжета и героя. Жанр лирической и эпической поэмы следует выделить по признаку охвата действительности: глубина и разветвленность конфликта, отображение существенных сторон и процессов действительности.

Не зря говорят: дать эпически глубокую картину действительности. Разве не дана она в поэме Твардовского «За далью даль», всецело построенной лирическим способом изображения? И вполне закономерно назвать ее и подобные ей — лирическим эпосом.

Эпическая широта и глубина присущи также типу лирической поэмы, но в ней — более узкий круг жизненных явлений, меньше обобщающая сила характеров (неважно — лирически или эпически построенных).

Так в сюжетосложении эпической поэмы О. Чиладзе «Поэма любви» использована мифологическая параллель. Изображая любовную коллизию от первого лица, поэт мотивирует драматичность, сложность и долговечность любовных чувств и их антипод — эгоизм так, как это было уже тысячи лет тому назад.

В его же лирико-философской поэме «Цирк» параллель с цирковым представлением подчеркивает движение любовных чувств лирического героя, их взлеты и падения. Поэт прославляет возвышенное в человеке, то, что не позволяет ему поступать по закону цирковой клоунады. Конфликт в «Цирке» О. Чиладзе совершается в душе героя, в его мыслях и переживаниях, а в «Поэме любви» охватывается связь между людскими отношениями на протяжении столетий, поднимая типическое до уровня типологического.

В современной поэме структурные принципы лирической поэмы доминируют: лирическое осмысление явлений, событий, конфликтов — принцип построения.

Героем поэмы, как правило, является лирический характер (лирический герой), как это наблюдается в истории лирической поэмы. Но современная, и даже лирическая, поэма может быть построена и с объективированным характером в центре — например, «Мцыри» Лермонтова, «Зоя» Н. Хикмета и др. Но все же в повествовании и тем более в лирической экспрессии неоспоримо доминирует голос автора.

Многие наиболее значительные поэмы многонациональной советской литературы доказывают, что объективированные характеры, которые в истории вида являлись краеугольными камнями поэмы, становятся такими же компонентами, как остальные образы: природа, история, визуальное действие и философские обобщения поэта.

Все они равноправны. Образы авторских мыслей, например, характеры — для поэм «Кровь и пепел» и «Стена» Ю. Мар-

цинкявичюса, мифологические образы — для «Поэмы любви» О. Чиладзе, Светлана-Катерина — для «Льда-69» А. Вознесенского, Аннеле и другие — для «Поэмы о молоке» И. Зиедониса. В некоторых из них функция характера более или менее самостоятельна. Но в таких поэмах, как, например, «Эйнштейн-ниада» О. Вацнетиса, «Земля, поклонись человеку!» О. Сулейменова, «Прежде всего» Л. Дамиана, исторические личности только упомянуты.

Такая метаморфоза системы образов в поэме происходила постепенно. Она явно видна уже в «Двенадцати» А. Блока и «Эдисоне» В. Незвала. Петруха и Катька менее значительны, чем коллективный образ двенадцати, чем образ буржуа (старого мира), чем символ революционной справедливости. Не является самостоятельным образом в поэме В. Незвала и Эдисон: он — как бы мерило, точка отсчета тех идеалов, о которых ратует поэт, наподобие Ленина, Эйнштейна, Гагарина в упомянутых поэмах О. Вацнетиса, О. Сулейменова, Л. Дамиана.

Со структурой образов неразрывно связан сюжет поэмы, в котором повествование о событии (событиях), традиционно являясь стержнем (хребтом) сюжета, стало его составной частью, элементом, а не доминантой.

Сюжет современной поэмы можно определить терминами: В. Кожина — «движущаяся коллизия»<sup>1</sup>, В. Огнева — «сюжет авторской мысли»<sup>2</sup>, М. Каноата — «внутренний сюжет, освещенный бением мысли и сердца автора»<sup>3</sup>.

Эта «лирическая свобода», даже «лирическая распушенность» воспринимается не усвоившими объективных законов развития современной поэмы ее типологическим признаком. Она дает возможность как бы моментальной вспышкой соединить эпохи, отделяемые столетиями и тысячелетиями. Ее лирическая структура — залог накопления в каждой отдельно взятой поэме большого количества материала культурной памяти.

Она в современной поэме — также типологический признак вида поэмы сегодня. Это один из источников ее эпичности. Различные слои национальной и мировой культуры служат поэту мерилом человеческого разума и души для осмысления самых долговечных чувств, переживаний и признаний человека, для понимания современного качества этих категорий.

Широко используемый в литературе второй половины XX века миф, по мнению многих авторов и исследователей являющийся вневременной категорией, в авторской интерпретации всегда связан с определенными историческими обстоятельствами, социальными условиями, типическим.

В этом отношении характерна сегодня грузинская литература и конкретно поэма. Литературовед Коба Имедашвили приводит по этому поводу следующие слова писателя Нодара Думбадзе: «Считаю, что осовременивание мифологических и библейских тем, сентенций и догм не следствие попросту их «сю-

<sup>1</sup> «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении», Москва, 1964, с. 462.

<sup>2</sup> Юстина с Марцинкявичюс, Поэмы, Москва, 1973, с. 10.

<sup>3</sup> «Дружба народов», 1977, № 2, с. 239.

жетной привлекательности», а результат стабильности человеческой природы. Со дня рождения человека и до нынешних дней...»<sup>1</sup>.

Эту истину в широкой эмоциональной гамме самых противоречивых переживаний Отар Чиладзе отобразил в таких поэмах, как «Поэма любви» и «Три глиняных пластины». Так, например, опыт Орфея, Эвридики, Харона конфронтируется здесь с духовной жизнью современного человека, проецируясь в душе лирического героя следующим образом:

И убедился он, что печаль его —  
Часть всеобщей тоски,  
В страницы общего огня заворачивали  
Его существо бог или судьба...  
И светало.

На шумы и тени  
Делилась смерть ночи.  
И в постель ложилось утро.  
С осторожностью женщины,  
пришедшей к возлюбленному.

(Подстрочный перевод А. Беставашили)

Молдавский поэт Павел Боцу строит свою «Балладу негасимой капли» всецело на мотивах народных баллад. Но фольклорные образы перекликаются у него с сегодняшним днем, затрагивая национальные и общечеловеческие проблемы героизма, гуманизма, самопожертвования. Образ «Дом-домище» в его поэме «Дом в Буджаке» посредством фольклорных образов выражает чувство родины, любовь к ней, благодарность ей, заботу о ней:

Дом-домище,  
Ты мокнешь  
под дождями,  
Ты дрогнешь  
под ветрами  
И мерзнешь  
под снегами.  
Ветвями винограда  
укутаем громаду,  
Посадим рядом иву,

Пусть опускает гриву —  
Серебряные ветви —  
На наш Домище светлый.  
Ты, ивушка, скорей  
Стеной своих кудрей  
Укрой со всех углов  
Наш Дом от всех ветров.  
От всех дождей,  
От всех снегов.

В лирическом эпосе «Поэма о молоке» И. Зиедониса латышская народная песня используется и в ее чистом виде как аргумент для подтверждения этических ценностей на протяжении веков, а также в преобразованном виде, например, для образа многострадальной родной земли, которую на перекрестке исторических событий тысячелетиями трепали ветры всех небесных сторон. В небольшой главе дан незабываемый образ истории латышской земли, чаяний и несгибаемой воли ее народа.

<sup>1</sup> К. И медашвили, Трудный путь к добру. — «Литературная Грузия», 1977, № 9, с. 54.

который на этой песчаной доне у Балтийского моря создал вековым трудом цветущие сады:



Сажал я черемуху —  
боже мой, как я ее сажал посреди двора! —  
выросло на черемухе  
— боже мой, Лачплесис, Кокнесис<sup>1</sup> и у него девять сыновей!

Вырвали черемуху  
боже мой, вырвали черемуху из моей земли,  
посадили,  
боже мой, посадили на краю света.

Сажай дерево,  
которое ломают плоды и повешенные люди, —  
ах, да, где имеются деревья,  
там всегда найдется кому ломать.

Но ты сажай.  
Сажай дерево! Деревья ведь будто кометы,  
которые, падая на землю,  
сеют надежду, историю, сказ (сказание).

(Подстрочный перевод мой. — В. К.).

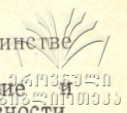
Апофеоз традиции трудовой нравственности высказан в прозе и подтверждается как аргументом народной песни в чистом виде:

«Мы в силах прокормить огромную страну. И детей чужих людей. И мимоходцев. И обязательства, которые мы тут теперь подписываем, давно уже подписаны народной песней.

Маслом строил стоги я,  
Балкой сыра подпирал» (Эти стоги. — В. К.).

В поэмах П. Боцу и И. Знедониса нет сквозной сюжетной линии, в поэме О. Чиладзе она имеется. Но это никак не означает, что у последнего больше эпичности: восприятие и отображение современного этического человека равноценны во всех трех поэмах. По существу сюжет во всех них является сюжетом авторской мысли. Повествование о событии стало составной частью сюжета, его элементом, а не доминантой. В современной поэме по сравнению с традицией классиков XX века Райниса, А. Блока, В. Маяковского, В. Неэвала — более «раздробленный» объект отражения, вернее, авторская мысль ассоциативно охватывает больше разнородного жизненного материала, который все же приведен к определенному «знаменателю» — служить решению центральной проблемы поэмы. Важна не пестрота, не количество деталей и сюжетных ситуаций, а их художественная целенаправленность. Говорить о сюжете

<sup>1</sup> Лачплесис — сказочный богатырь латышского фольклора. Лачплесис и Кокнесис являются также героями эпоса А. Пушпура «Лачплесис» и трагедии Райниса «Огонь и ночь».



конкретной современной поэмы — значит говорить о единстве и целостности данного художественного произведения.

Для современной поэмы характерно сосуществование и взаимодействие образов различной художественной условности. Это расширяет емкость поэтических образов, дает возможность для постановки и решения существенных проблем эпохи, охватывая процессы глобальных масштабов, увязывая историческое прошлое с сегодняшним днем. Для поэмы такой синтез особенно важен, поскольку задача ее — в оценке «состояния мира и человека», в обобщении «определенного этапа общественной жизни и мысли» (Ю. Марцинкявичюс), поскольку поэма — «стратегическая карта движения современной истории» (А. Лурье).

Так, конкретные бытовые ситуации в поэме Ю. Марцинкявичюса «Стена» при помощи символов Стены и Динозавра расширены до картин эпохи, хотя внешне действие не выходит за пределы замкнутого двора и одной улицы города.

Марцелю в минуту душевного помрачения борется не просто с чудовищем на каменной стене, но с тем мировым ужасом, который в двух мировых войнах лишил ее самого дорогого для человека — мужа и сына. Одновременно это становится общечеловеческой проблемой: цикличность трагического в истории и вместе с тем в жизни человека. Динозавр символизирует страх Марцелю и одновременно пока еще наличие страшного в человечестве. Этот условный образ органически вплетается в бытовые сюжетные ситуации потому, что он насыщен реальным жизненным содержанием и в значительной степени является отражением духовного мира Марцелю, внутренних противоречий ее, как это показано в трехкратной встрече: детская боязнь непонятого, неизвестного зверя, борьба со страшным злом в образе Стены, победа над своим страхом, столь ужасным для человека в предсмертной галлюцинации.

Многое поясняет авторский комментарий, возводящий индивидуальное к обобщенному: «И ты убить не в силах Динозавра, поскольку он равно живет во всех». Страшное конкретизируется и как нашествие фашизма («Все спали. / И вышел он»), и как страх и отчаяние отдельного человека: «...Наружу вышла, и огромный мир / Привиделся убежищем огромным, / В котором обитает Динозавр, / Где дух его царит, / Его идея».

Смысл этого сложного взаимоотношения образов разной художественной условности («реального человека» и «символа» — по сути оба они символичны) в следующем: отдельный случай выступает как «первая ступень» к всеобщей победе, как залог оптимистической перспективы. Так повествовательный сюжет благодаря символическим сюжетным ситуациям решает проблему борьбы сил веры и неверия в человека в современном мире.

Художественный символ, мифологическая параллель, реминисценции фольклора и остальные формы человеческой памяти заключают в себе богатое жизненное содержание, жизнеподобие и в то же время большое художественное обобщение.

Для советской, а также прогрессивной зарубежной литературы сегодня характерна героическая концепция человека не-

зависимо от конкретной формы конфликта — будь он социальный, классовый, трудовой, бытовой, любовный или какой-либо другой. Эта концепция, утверждая высокую гуманистическую идейность в современной идеологической борьбе, в поэме достигается посредством доминанты автора как субъекта речи.

Таким образом, эпическое — глубокое отражение существенных процессов эпохи — достигается и шириной охвата явлений, и умением разглядеть обобщающую их сущность. Модель этого создания мирокартины в современной поэме подчинена лирическому способу изображения. И от его эффективности зависит ее эпичность.

Эпичность есть и остается основным мерилом поэмы и лироэпической поэзии в целом по сравнению с лирикой.

Мы видим, что издавна присущее поэме объединение эпического и лирического начал (лироэпика) живо и продолжает существовать, только с определенными изменениями в структурно-содержательном плане: там, где когда-то перед нами проходила лента с поступательными целостными кадрами, теперь мелькает множество выразительных деталей и мысль выражается посредством их ассоциативного прочтения. Но при внимательном чтении мы не теряем целостного восприятия современного мира. Наоборот — оно стало более многогранным, более всесторонним.

Перспективу развития имеет и лирическая поэма, т. е. поэма с преобладанием лирического содержания (камерная поэма), с менее глубоким, чем у эпической, раскрытием закономерностей эпохи, но с той же моделью структуры лирического осмысления.

Жанр (тип) лирической поэмы сегодня становится проблематичным, потому что тенденция ко все более глубокому охвату существенных сторон эпохи придает ей выраженный эпический характер. И все более реальным становится цель Ю. Марцинкявичюса создать эпос XX века, пусть не в одном произведении, но в целой серии поэм. Значит, в поэме сегодня преобладает тенденция к эпичности, и можно пользоваться термином лирический эпос, что одновременно выражает содержательную и структурную суть современной поэмы.

## УГЛУБЛЯЯ МОТИВЫ ПРЕЖНИХ РАБОТ

По целому ряду причин М. Горький всегда был связан с грузинской общественностью, а его творческая деятельность с первых же шагов имела большой резонанс в Грузии. И сейчас произведения и деятельность писателя находятся в центре внимания грузинских читателей и литературоведов. О М. Горьком создавались и создаются различного рода труды. Взяты хотя бы статьи, исследования, книги С. Хундадзе, Л. Асатиани, А. Николадзе, В. Имедадзе, В. Шадури, Б. Пирадова, Г. Гвенетадзе, Г. Цицишвили, А. Немсадзе и других. Среди этих весьма различных по научному уровню и глубине, масштабу и назначению трудов исследования профессора Г. Д. Гвенетадзе занимают свое, определенное место.

Имя Г. Д. Гвенетадзе широко известно в грузинском и вообще в советском литературоведении. После тех знаменательных дней, когда все передовое человечество отметило столетие со дня рождения великого Буревестника революции, в Грузии, как и во всем Советском Союзе, был выпущен ряд трудов о Горьком (библиографические работы Н. Аккермана и Г. Какиашвили, методические — А. Немсадзе, литературоведческие — Г. Цицишвили, Г. Гвенетадзе, Б. Пирадова и т. д.). Работы грузинского ученого Г. Гвенетадзе привлекли пристальное внимание общественности. Один из его трудов был отмечен премией Всесоюзного общества «Знание».

Новая его книга «М. Горький и духовное единение народов» (М., СП, 1977) является продолжением многолетних, свыше четвертьвековых изысканий автора о взаимосвязях М. Горького с грузинской культурой и искусством. Эти исследования нашли отражение в многочисленных работах, опубликованных в периодике и книгах: «Максим Горький и грузинская литературная мысль в начале XX века», «Горький — друг грузинской литературы» и др.

В рассматриваемой книге исследователь, подводя итоги своих предыдущих работ и учитывая достижения предшественников и современников, работающих в этой же области, предлагает читателям новые или полузабытые материалы, в том числе архивные, вводит в научный обиход ранее не известные документы, тем самым уточняя и расширяя наше представление о фактах жизни и творчества великого писателя.

Тема «М. Горький — интернационалист» давно привлекает внимание исследователей. Однако многое в этом направлении еще предстоит сделать. Думается, настало время с

научной полнотой изучить такие вопросы, как «М. Горький и представители культурных сил Российской империи», «Горький и интеллигенция народов СССР». Это позволит подвести научный фундамент под проблему: «Горький — организатор переводов и пропагандист литературы мира, воспитатель многих поколений национальных писателей страны». В рецензируемой книге как раз и говорится об интернациональной деятельности пролетарского писателя, но только преимущественно на основе связей писателя с грузинской литературой.

Казалось бы, проблема книги локальна, однако автор попытался глубоко затронуть ряд существенных вопросов темы. Так, в первой главе «В содружестве с биографом» рассказывается история создания первой советской монографии о М. Горьком, говорится о роли М. Слонимского, И. Пруздева и других в ее создании, повествуется о многих интересных фактах жизни и творчества писателя. Значение главы в том, что Г. Гвенетадзе заново, по первоисточникам изучил весь процесс создания биографии М. Горького, установил долю участия каждого из авторов в этом деле.

Воспроизводя многочисленные документы, в том числе письма друга и биографа М. Горького М. Слонимского к автору книги, Г. Гвенетадзе показывает, какое большое значение придавал писатель первой биографической работе о нем, в том числе материалам, касающимся его пребывания в Грузии. Это происходило потому, что сам М. Горький понимал значение грузинского периода жизни в своей творческой и политической деятельности.

Во второй главе «А. Пешков в кружке «старого коммуниста» довольно полно представлены взаимоотношения будущего писателя с представителями революционной интеллигенции, которые находились в Грузии в 90-х гг. XIX века. С многими из них А. Пешков общался и испытывал их влияние. Так, обстоятельно воссозданы взаимоотношения будущего писателя с Берви-Флеровским: показана канва жизни этого интересного деятеля, круг его интересов, охарактеризованы его произведения, члены кружка, устанавливаются этапы жизни некоторых деятелей, к которым имел отношение М. Горький («Калюжного», «жен политических» и др.), в том числе О. Каменской, человека, близкого писателю.

Впервые в литературе о М. Горьком так широко говорится о роли Берви-Флеровского в жизни М. Горького, о некоторых сторонах их сложных взаимоотношений. Здесь же освещается отношение писателя к народникам, особенно к участникам «процесса 50-ти». Автор критически относится к устоявшимся мнениям и каждое свое положение, каждое уточнение основывает на убедительном материале, первоисточниках, архивных данных, материалах полиции и т. д. Многие из них Г. Гвенетадзе впервые вводит в научный оборот. Так, из главы можно многое узнать о культурной жизни в Тифлисе в 1891—1892 гг., и участии в ней М. Горького, о его желании приехать в Тифлис в 1893 году...

— В третьей главе «...Пропаганда доброкачественных идей приносит результаты» речь идет о взаимоотношениях М. Горь-



кого с известным грузинским деятелем Гола Читадзе. Конечно, в дальнейшем, с выявлением большего числа документов, представится возможность еще более прояснить этот вопрос, но уже сейчас можно сказать, что Г. Гвенетадзе проливает свет на очень значительное обстоятельство ранней революционной деятельности М. Горького, которое еще мало изучено. Одновременно в связи с этой темой приведены новые и малоизвестные данные о тифлисской духовной семинарии, о Д. Кипиани, И. Лагнашвили, Н. Канделаки и других.

Четвертая глава «...Литература лучше всего знакомит народ с народом» — основная в книге и по размерам, и по значению. На основе использования преимущественно грузинского материала впервые в литературе о писателе так полно и обстоятельно говорится о действиях М. Горького в защиту грузинского языка и культуры. Он делал большое дело, когда стремился издать переводы лучших образцов многовековой грузинской литературы. Понимая, что духовное сближение народов, их взаимообогащение достигается не иначе как взаимобменом культурными ценностями, М. Горький постоянно боролся за утверждение интернациональных взаимоотношений народов.

Здесь же показаны старания писателя в деле популяризации лучших образцов грузинского художественного слова. И в том, что сегодня так широко раздвинулись географические границы знакомства с достижениями грузинской литературы, заслуга и великого русского писателя. Автор говорит и о его внимании к памятникам грузинской архитектуры. Известно, что М. Горький был восхищен Светицховели. Он писал о варварстве служителей церкви, которые побелили стены со старинными фресками. Так продали уникальные образцы творчества, которые очаровывали Васнецова. Писатель интересовался Гелатским монастырем и развалинами Нарикалы. Как известно, М. Горького привлекали грузинские песни и танцы. Он помнил некоторые образцы народной поэзии. Обо всем этом весьма доказательно поведал автор книги.

Известно, что М. Горький с большим уважением относился ко всему, что было связано с Грузией, но прежде всего к грузинской литературе. По его свидетельству, с образцами древнегрузинской литературы он познакомился еще совсем молодым. Высокую оценку давал М. Горький «Витязю в тигровой шкуре», творениям Саба-Сулхана Орбелиани, отдельным шедеврам древнегрузинской церковной и светской литературы. С новейшей же грузинской литературой он познакомился в начале века, особенно в период подготовки грузинской литературной антологии, которая должна была выйти под его редакторством и с его предисловием. Именно этот вопрос заслуживал большого внимания, и Г. Гвенетадзе подробно, на основании многочисленных фактов изложил историю о том, как готовилась антология, какова в этом роль М. Горького и почему она не увидела света. Наконец, в главе показана постоянная забота М. Горького о переводе лучших образцов литературы народов СССР на русский язык, в том числе образцов грузинской литературы.

Особо следует выделить большую работу, проведенную Г. Гвенетадзе по установлению истории создания и публикации романа А. Антоновской «Диди Моурави», повествующей о национальном герое Грузии Георгии Саакадзе. Автор на основании писем А. Антоновской к М. Горькому, ее переписки с грузинскими деятелями (М. Джавахишвили и др.) устанавливает основные моменты создания произведения и большую помощь М. Горького в его публикации. Эти страницы весьма интересны для грузинского читателя, для выяснения особенностей литературной жизни тех лет.

В пятой главе «Признательность младших собратьев по перу» рассматриваются творческие взаимоотношения М. Горького с М. Джавахишвили и Г. Табидзе. На основе использования труднодоступных материалов, похороненных в старых газетах и журналах, книгохранилищах и архивах, автор сообщает много интересных данных, показывает процесс усвоения младшим поколением традиций М. Горького. Говорит Г. Гвенетадзе и о той высокой оценке, которую давали основоположники грузинской советской литературы деятельности великого пролетарского писателя, о его роли в становлении грузинских писателей.

Автор справедливо считает, что интернациональная деятельность М. Горького не была бы полнокровной, если бы в его творчестве не нашли отражение интернациональные мотивы, духовное единение народов, их стремление создать на земле свободную и красивую жизнь.

В последней, шестой главе — «Когда жизнь другого народа становится близкой и понятной» — исследуются грузинские связи Горького. На основе анализа рассказа М. Горького «Мечь» автор делает вполне убедительные выводы. Одновременно им анализируются высказывания критиков об этом рассказе. Многие из них широкому кругу читателей не были известны.

Уже краткий обзор содержания книги Г. Гвенетадзе дает представление о широте его научных интересов. Перед нами еще одно серьезное исследование о великом пролетарском писателе. В последние годы вышло очень мало книг, содержащих такой объем новой и малоизвестной информации о М. Горьком. Ни в коем случае не ставя под сомнение необходимость изучения творчества писателя под новым углом зрения, новой интерпретации известных данных и других однородных построений, мы одновременно признаем и приветствуем всякое обоснованное новое. Поэтому и считаем книгу Г. Гвенетадзе заметным явлением в горьковедении.

Хорошо зная научную и критическую литературу о писателе, в том числе об интересующих его в первую очередь грузинских связях М. Горького, воздавая должное своим предшественникам, Г. Гвенетадзе заново начинает изучение всех событий жизни писателя, связанных с Грузией. И это неожиданно приносит положительные результаты. Видимо, исследователи в своих построениях не критически обращались к мнениям предшественников, не проверяя их правильности, точности. Иначе чем объяснить, что неправильные мнения кочевали из работы

в работу. Так, восстанавливая творческую историю первой биографии писателя, воздавая должное работе М. Слонимского на ней, Г. Гвенетадзе «докопался» до горьковских уточнений в его материалах. Он считает, что публикация этих уточнений была бы последующих исследователей от многих затруднений. На примере дат наиболее продолжительного путешествия А. Пешкова по Руси в 1891 — 1892 годах (когда покинул Н. Новгород, до какого пункта доехал, в какие города заходил и т. д.) показан большой разбой во мнениях. Но если бы М. Слонимский и И. Груздев учли исправления М. Горького, все бы давно разъяснилось.

Г. Гвенетадзе тщательно изучает этот вопрос, вносит уточнения в материалы М. Слонимского и И. Груздева, обращаясь к М. Горькому и другим авторитетным источникам. И это не единичный случай. Таков метод работы грузинского исследователя. Поэтому главы его книги о взаимоотношениях М. Горького и Берви-Флеровского, об отношении писателя к грузинским книгам, песням и т. д., о «грузинских» книгах в библиотеке писателя и других явлениях содержат ценные сведения.

Другая особенность исследовательского метода Г. Гвенетадзе — это стремление подкрепить каждое свое положение или гипотезу материалами. Обращение к документам, архивным материалам, заново подобранным и выявленным, позволяет ему каждое свое положение доказать убедительными документами, архивными данными, материалами жандармерии, которые помогут читателю прийти к определенным выводам. Это касается и больших, и малых фактов. Причем документы приводятся не в выдержках, не ретушированные, а по возможности полностью. И по документам многое становится ясным.

Г. Гвенетадзе задался целью показать, насколько прочно осел М. Горький в Тифлисе, насколько он знал русскую и грузинскую демократическую интеллигенцию города. На основе документальных данных исследователь убедительно показывает, что будущий писатель уже в первый приезд был в Тифлисе «не прохожим, не влекомым», а человеком, который сумел разобраться в особенностях тифлисской действительности, установил прочные связи с интеллигенцией города. Интересно и то, что эти прочные связи не были утрачены после отъезда М. Горького. Таким образом, Г. Гвенетадзе сумел высветить в своей книге один из значительных периодов жизни будущего писателя, показать его втянутым в идейные и творческие интересы города. Иными словами, он выяснил некоторые условия, которые не могли пройти бесследно для творческого созревания писателя.

Книга Г. Гвенетадзе многоаспектна. Это поставило перед исследователем большие композиционные трудности. Для каждой темы (а их множество) следовало найти такой аспект рассмотрения, который позволил бы увязать отдельные проблемы в одну основную, главную. Поэтому у читателя и остается целостное впечатление об идейной направленности книги. Так, преодолевая трудности построения исследования, автор на основе преимущественного рассмотрения грузинских данных коснулся различных сторон интернациональной деятельности

М. Горького. Это делает архитектонику его исследования вполне целостной.

Хотелось бы отметить высокую культуру научно-справочной работы. Автор с большим уважением относится к трудам своих предшественников, отмечая их достоинства, долю разработки вопроса, и одновременно постоянно цитирует их труды, в особенности документы, извлекаемые из самых различных мест, в том числе из разных архивов страны и т. д. Стремление докопаться до самой сути дела, проверка и перепроверка чужих мнений, цитаций и т. д. позволили выявить много ошибок, неточностей, которые «гулялы» из исследования в исследование, а приводимые им материалы, насколько мы могли судить, проверены, убедительны, на них можно положиться. Имеется ссылка на каждое мнение, цитату, документ. Это одновременно делает труд Г. Гвенетадзе тем справочником, к которому смогут обратиться все интересующиеся как жизнью нашего города в 90-х годах XIX века и позже, так и начальным периодом творческой деятельности М. Горького.

И в заключение несколько слов о недостатках. Так, в шестой главе, анализируя грузинские произведения М. Горького, автор остановился только на одном рассказе «Мечь». Между тем в книге названы и другие аналогичные произведения, имеющие отношение к теме «М. Горький и Грузия». Хотя уместить в одной книге все вопросы — задача не из легких, все же логика исследования требовала привести в специальном труде об интернациональной деятельности М. Горького также и анализ других его грузинских произведений, поскольку высшим проявлением интернационализма для писателя является обращение к национальной тематике определенного народа и трактовка тем в интернациональном духе.

Как уже говорилось, архитектоника книги последовательна и целостна, но все же чувствуется различный характер представленного материала. Затрагиваемые вопросы неравноценны. Иногда они в малой степени касаются Грузии. Так, первая глава восстанавливает справедливость в отношении М. Слонимского, но только в малой степени касается грузинских данных. Между тем, у Г. Гвенетадзе имеются работы, в которых затрагиваются целые проблемы. И в дальнейшем можно пожелать ему специально исследовать «грузинские» произведения М. Горького с присущими автору тщательностью, последовательностью и упорством в связи с жизнью Грузии того времени.

В целом же это серьезное исследование, углубляя мотивы прежних работ автора о М. Горьком, является шагом вперед и для него самого, и для всего грузинского и советского горьковедения.

**Дмитрий ТУХАРЕЛИ,  
Нодар ПОРАКИШВИЛИ**

# ЗАЛОЖНИК КАРТЛИ

Исторический роман Кетеван Нуцубидзе «Заложник Картли» уводит нас в глубь веков. В нем рассказывается о жизни человека, первоначальное имя которого было Мурван.

Жил он в V веке, был сыном царя Грузии Бузмара и внуком великого Бакура. Сейчас все просвещенное человечество знает его по имени Петра Ивера, который в ту мрачную эпоху проповедовал чистые идеалы гуманизма.

Петр Ивер, он же Мурван, — современный мученик Шушаник и летописца ее жизни Якова Цуртавели. Как видно, первый грузинский прозаик и первый грузинский философ вышли на арену своей деятельности одновременно. В острой политической обстановке тогдашней Передней Азии, когда Византийская империя старалась подчинить себе соседние страны, в том числе Грузию, и держать их под своим влиянием, царь Картли Бузмар вынужден был отдать в заложники византийскому императору Феодосу Малому своего единственного сына Мурвана, мальчика необычайно одаренного, ставшего впоследствии философом с мировым именем.

Повеествование начинается с описания того, как отбывший из Грузии корабль с юным заложником Мурваном и сопровождающими его лицами вот-

вот подплывает к Константинополю. «Между Босфором и Золотым рогом, — читаем мы в романе, — стал хорошо виден город Константина. Но четырнадцатилетний Мурван не замечал множества белых домов и огромных храмов с куполами. Он снова и снова вспоминал, как сначала в море тонули маленькие хребты, затем склоны Кавкасион и его вершины. Вместе с ними погружался в неизвестность и Мурван. Небо было затянуто густым непроницаемым туманом, глаза не могли найти точки опоры, и мысли бежали по тропе солнечного луча, начало которой осталось в отчужденности, а конец вел в Византию.

«Видимо, быть в заложниках нехорошо, потому так опечалились отец с матерью, царский двор, вся страна, — думал он. — Возможно, я потеряю престол, наследником которого был, на родину тоже, может, не вернусь, никого больше не увижу...»

В этих первых строках романа есть именно то, что называется видением художника: в море и неизвестности тонущие горы Кавказа, мысли, бегущие по пройденному пути, проложенному, подобно тропинке солнечного луча, начинающейся в Грузии и заканчивающейся в Византии...

Мурвана с отрочества мучает мысль о вероломстве людей и неустойчивости бытия. Впоследствии, уже в годы учебы, его тревожит проклятый вопрос: «Если бог — источник добра, то тогда откуда

же берется зло на земле?». Он знает, что красота в этом мире может быть лишь только emanацией добра. «Красота и добро — одно и то же, — писал он, — ибо нет ничего, что одинаково не относилось бы и к красоте, и к добру».

И вот еще один интересный штрих из биографии Петра Мурвана, приведенный в этом романе: Мурван проходит не только большое умственное, но и физическое и военное воспитание; он ловкий и блестящий наездник, меткий стрелок, упражняется в стрельбе из лука... И знаете, почему? Не потому, что хочет попасть в цель, а для того, чтобы обязательно не попасть в оленя, иначе, возможно, ведь, чтобы по неопытности охотник попал прямо в сердце обреченной жертвы.

Петр хорошо знает, что малое содержит зародыш большого. В капле росы он видит солнце и наблюдает игру его красок. Как отмечает исследователь культуры античной эпохи Ф. Лосев, наличие в ареопагитике диалектических идей (тезис «о бытии бога в его небытии», учение о разных степенях бытия), а также пантеистические тенденции, ясно выраженные в ареопагитических книгах, обусловили их влияние на передовых мыслителей эпохи Возрождения. На ареопагитские книги (четыре философских трактата и десять эпистол) откликнулись Фома Аквинский, Николай Кузанский, Лоренцо Вела, Эразм Роттердамский, Джордано Бруно, Пьер Бейли и многие другие. Несмотря на такую популярность, фамилии автора ареопагитских книг точно никто не знал. Эту тайну столетий только в наше время

независимо друг от друга разгадали видный грузинский ученый академик Шалва Нуцубидзе и бельгийский ученый Е. Хонигман. Ш. Нуцубидзе также дал исчерпывающую оценку всего идейного наследия Петра Ивера (см.: Ш. Нуцубидзе, Труды, т. V, «Петр Ивер и античное философское наследие», Тбилиси, 1975).

Ареопагитские книги проложили дорогу первым основоположникам Ренессанса, сначала Шота Руставели, а затем Данте Алигьери. Петра Ивера (псевдо-Дионисий) признают мудрецом как Чахрухадзе, так и Руставели, а Данте назвал его светочем («Ты видишь светоча горенья, который, во плоти, провидеть мог природу ангелов и их служенье». Данте, «Божественная комедия, Рай, X, 115—117, перевод М. Лозинского). Своим учением о способности человека «постичь божественные начала» или, говоря современными словами, постичь общечеловеческие идеалы добра и красоты. Петр Ивер, возвысив человека до бога, проложил путь гуманистическому миропониманию эпохи Возрождения. Этот главный смысл ареопагитских книг Петра Ивера послужил сначала для Руставели, а затем и Данте стимулом к разрушению догматико-тотальной формы христианской религии, углублению ее этического содержания и таким путем утверждению гуманистических начал Ренессанса.

Однако вернемся к роману Кетеван Нуцубидзе. Как уже было отмечено выше, книга начинается с прибытия Мурвана и сопровождающих его лиц в Византию (их всего трое). После этого грузинский царевич растет в Константинополе,

при дворе императора; он проявляет особые способности в философии, приводя всех в изумление силой своего разума и удивительным знанием языков. Казалось бы, арена его будущей деятельности определена — он должен посвятить себя философии. Но, несмотря на все это, по случайному капризу императора он назначается начальником императорских войск.

В то время Византия была превращена в арену борьбы между монофизитами и диофизитами, что служило причиной большой политической междоусобицы. Когда патриархом Константинополя становится Несториос, эта борьба обостряется до предела. Несториос выступает против прославленного в то время патриарха Александрии Кирилла, который неукоснительно отстаивает свои догматические принципы.

Мурван стоит в стороне от всего этого, несмотря на то, что в известном смысле сочувствует Несториосу.

Именно в ту пору знакомится он с приглашенным в Константинополь великим афинским философом, язычником Проклом, находя в его взглядах что-то родственное. Тогда-то и закладывается основа его мировоззрения — «теозиса», учения о божественности человека.

Находясь в центре внимания всех и будучи наделен внешней красотой, нравственными и интеллектуальными достоинствами, молодой полководец Мурван заслуживает особого внимания заботившихся о нем царицы Евдоксии и Пульхерии. Обе полюбили его: одна, как поэта и книжни-

ка божественной, чистой любовью, вторая — земной, горячей страстью любовью.

Эти политические и личные интриги создают такую накаленную обстановку, что все три грузина решают оставить Константинополь и отправиться в Палестину. Но где бы они ни были, все же не прерывают связи с Грузией, систематически переписываются как с родителями, так с царем Арчилем и Яковом Цуртавели.

В Палестине все трое постриглись в монахи: с этого момента Мурван принимает имя Петра (впоследствии прославленный Петр Ивер), Митридат — Иоанна (впоследствии известный философ Иоанн Лаз) и Бургакас — Захария (будущий биограф Петра).

Сирия того времени представляла собой большой культурный центр. Здесь Петр очень скоро прославился. Вокруг него собирается молодежь всех направлений — как диофизиты, так и монофизиты. Благодаря его терпимости, нейтральной позиции все стремятся увидеть в нем своего сторонника. Но он все же остается еретиком, и хотя его называют «вторым Павлом», «вторым Моисеем», преследуют как еретика.

Петр и Захарий уединяются в горах, защищаясь от преследований. Но когда проходит эта беспокойная пора, Петр уже не возвращается к общественной деятельности. Избегает почестей и излишней славы, участия в государственных делах: отказывается от епископства, не принимает приглашения кесаря Зенона возглавить весьма почетные дела.

Стремясь, насколько это возможно, следовать за историче-

ской правдой, автор романа «Заложник Картли» разворачивает перед читателем панораму тогдашней обстановки на Ближнем Востоке, на фоне которой и прослежена жизнь Петра Ивера. Восприятие этой сложной судьбы способствуют и канва произведения, и его образы, исполненные реалистических красок.

Георгий НАТРОШВИЛИ

## ЖИЗНЬ РОДИНЕ ОДНОЙ ПРЕДНАЗНАЧАЛ

В «Истории грузинской литературы», изданной в Тбилиси в 1958 году, сказано: «Николай (Колау) Надирадзе (родился в 1895 году) — тонкий лирик. Его перу принадлежат стихи, посвященные преимущественно интимному миру человеческих чувств. Он же написал ряд талантливых стихотворений, рисующих облик нового Тбилиси, картины преобразования Колхиды и другие».

Так коротко охарактеризована поэзия Колау Надирадзе в этой единственной в своем роде книге.

Перелистывая вышедшую недавно в издательстве «Советский писатель» — маленькую книжку стихов Колау Надирадзе «Тбилисское ут-

ро», отчасти можно согласиться с подобной характеристикой его творчества. Но так ли это? Так ли характерны для поэзии К. Надирадзе собранные в этом сборнике стихи? Прежде чем говорить об этом, проследим хотя бы вкратце творческий путь этого своеобразного грузинского поэта.

Не будет преувеличением назвать Колау Надирадзе уникальным явлением в грузинской поэзии. В свое время его называли поэтом-рыцарем, эстетом, законодателем поэтической моды. Образованнейший человек своего времени, тонкий знаток грузинской и русской поэзии, он учился в Кутаисской гимназии вместе с Владимиром Маяковским, Паоло Яшвили, Тицианом Табидзе. Со своими товарищами он впрягся вместо лошадей в фаэтон, в котором сидел Акакий Церетели, чтобы довести его до театра, где отмечался юбилей знаменитого поэта.

С седьмого класса его исключают из гимназии с «волчьим билетом» за почитание революционно настроенной профессуры. Наверное, об этом вспоминал он позднее, когда писал:

Хорошо следить под вечер,  
Как идут с работы люди, —  
Многие им лета! Слава —  
Мастерству и трудолюбию;  
Хорошо, что край родимый  
Озарен труда величьем,  
Что народ самоотвержен  
И в руках его надежных —  
Человеческое счастье!..

(«В Тбилиси». Перевод  
Елены Николаевской)

Сдав экзамены экстерном,  
он едет в Москву, чтоб по-



ступить в Московский университет. Часто наезжает в Петербург, где слушает лекции знаменитого профессора Петражицкого, не пропускает ни одного литературного вечера, в котором принимали участие Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Ахматова, Бунин, Иванов и Волошин. Посещает концерты Рахманинова, оперные спектакли с участием Шаляпина. Вот атмосфера, сильно влиявшая на раннюю поэзию Колау Надирадзе, в которой, пожалуй, вначале больше чувствуется рука мастера, чем вдохновение и внутреннее озарение. Он больше мечтает свои стихи, чему изливает в них душу. Поэтому порою в них такая величественная холодность, а иногда кажущееся отсутствие теплоты. Может быть, поэтому так уверенно говорит поэт:

Ведь ничем не владею,  
Что мог бы я вдруг потерять:  
Всем бесценным, что есть,  
Я готов поделиться немедля.

Помню все, что прошло,  
Жду всего, что случится  
должно,  
Что неожиданно придет  
И что можно предвидеть  
заранее.

(«То, что мне нужно сказать».  
Перевод Елены Николаевской).

Уверенность эта чувствуется в каждой строке, в каждом слове.

В этой книжке, к сожалению, собрано не все лучшее и характерное, что создано поэтом за его долгую и интересную жизнь. Эти стихи тоже, безусловно, говорят об основных мотивах его поэ-

зии: лирика, интимный мир человека... И здесь собраны по-настоящему хорошие лирические стихи поэта.

Если философская созерцательность и поэтическая мысль в начальный период творчества К. Надирадзе носили несколько случайный характер, то в стихах сороковых-пятидесятых годов чувствуется больше глубины и стоицизма.

Я, как строптивец, о любви  
молчал,  
Я, как скупец, крупницы слов  
берег,  
Но жизнь — тебе одной  
предназначал,  
К тебе спешил в слезах со  
всех дорог.  
Я за молчанье заплатил с  
лихвой.  
Да и теперь откуда дерзость  
взять?

Что матери твердить —  
я твой, я твой!  
Ей ведомо. На то она и мать.

(«Родине моей». Перевод  
Ирины Снеговой).

Высокая гражданственность, мудрое восприятие нашей действительности, дум и страстей советского человека, повседневный героизм нашей жизни, ставший обычным и необходимым, — нашли свое отражение в стихах Колау Надирадзе. В этом отношении характерно стихотворение «Филатову», написанное в 1964 году (не вошедшее в этот сборник):

Меня радует, наполняет  
надеждой,  
Что жив ты и бьется сердце  
в твоей груди!  
И я горю огнем души твоей,  
И я хочу дать другу свет.



Юрий БУРЛАКОВ

Память о выдающемся грузинском альпинисте Михаиле Хергиани — Тигре скал — живет в народе.

О нем пишут книги, создают кинофильмы, его имя недавно присвоено новому молодежному Дому культуры, построенному высоко в горах, в Местиа. В издательстве «Физкультура и спорт» в Москве готовится к печати повесть Юрия Бурлакова «Восходитель» (страницы из жизни Михаила Хергиани).

Мы предлагаем читателям последние главы из этой книги.



## Возвративший легенду

### ТРАГЕДИЯ ПОРАЖЕНИЯ

После блистательных восхождений во Франции и участия в юбилейной международной альпиниаде на Памире с подъемом на пик Ленина он выступил в первых числах октября на очередном чемпионате страны по скалолазанию. Тигр скал старался не пропускать форумы скалолазов.

...Минут на пятнадцать задержался старт Хергиани. Судейская коллегия не в состоянии была удалить со стартовой площадки многочисленных фотскорреспондентов и кинооператоров: находиться под стартующим скалолазом было небезопасно и запрещалось правилами. Трещали кинокамеры, щелкали фотоаппараты. Уникального атлета снимали и с правой сторо-

ны, и с левой, а наиболее отчаянные репортеры, взобравшись на скальный уступ, снимали сверху. Главный судья соревнований Иван Антонович увещевал в мегафон, налегая на верхние регистры.

Наконец дали старт. Под нарастающий гул многочисленных зрителей, превратившийся в конце в настоящий рев, Миша пронесся по отвесу. 5 минут 22,8 секунды! Трасса была посложней прошлогодней. Ближайший соперник отстал от чемпиона СССР на 1 минуту 22 секунды. Это, наверное, все равно что в беге на 800 метров оторваться на 200 метров. Тигр скал на десять голов оставался выше всех. И надежда Ленинграда Виктор Маркелов, и алмаатинец Олег Космачев, и красноярцы — все были далеко позади.

Восторженная толпа подняла его на руки и понесла по осыпи вниз. Под Крестовой царило невообразимое возбуждение.

Так закончился самый счастливый его сезон, сезон-67.

Конец осени и начало зимы, помимо основной инструкторской и тренерской работы, почти полностью заняли институтские дела. Почти, потому что надо было продолжать личные тренировки, выезжать на встречи (издержки популярности), отвечать на многочисленные письма, которые приходили к нему со всего света, встречаться с литераторами и киношниками, задумавшими писать о нем книги и снимать фильмы.

Расслабиться и немного передохнуть пришлось только в Приэльбрусье: на вторую половину зимы, как и в прежние годы, он уезжал работать тренером по горным лыжам.

Миша отчетливо крутил слалом. Уступая уговорам спортивных руководителей, выступал иногда на соревнованиях. Слова диктора: «На трассе заслуженный мастер спорта Михаил Хергиани» — вызывали в нем смешанное чувство веселости и смущения. Дежурная подначка приятелей — не по слалому же он заслуженный!

Закончив смену, он уехал в Тбилиси. Надо было думать о предстоящем сезоне. Из Федерации СССР сообщили о планируемом выезде в конце августа в итальянские Доломиты. Что ж, идея хорошая. Однако до этой поездки можно было что-нибудь сделать и на Кавказе. Что выбрать? За последние годы отечественные альпинисты сделали много отличных восхождений, класс мастерства рос на глазах. Были совершены восхождения на пик Энгельса по северо-восточной стене (группа Кустовского), на Хан-Тенгри с севера (группа Кузьмина) и по его мраморному ребру (группа Романова), на Южную Ушбу по центру западной стены (группа Моногарова), на Чатын по большой диагонали ромба (группа Черносливина), на Айламу по южной стене (группа Мирианашвили), на пик Комкадемии (группа Пьянкова), на Чапдару по северо-западной стене (группа Киселева), на пик Военных топографов (группа Водохова), на пик Свободной Кореи по северной стене (группа Студенина), на пик Таджикистан (группа Кахиани. Миша поздравил Иосифа с хорошей горой), на пик ОГПУ по западной стене и на пик Коммунизма по юго-восточному гребню (снова группа Кустовского; Анатолий набирал силу). Наконец-то был

сделан траверс массива Победы с запада на восток (группа Рязанова). За короткий срок были освоены огромные труднодоступные территории страны. Он заявил на новый сезон центральную Шхельду по северной стене: нашел еще один дневной путь — самый прямой, самый красивый.

Однако Шхельда вскоре отодвинулась на второй план: в республиканской федерации возникла мысль организовать в сезоне-68 массовое восхождение на Северную Ушбу. Собственно, это было продолжение старой традиции альпиниад. От простых вершин постепенно шли к более сложным. Так в тридцатые годы были взяты массовыми колоннами Тетнульд, Комито, Джимарайхох. Теперь намеревались сделать массовый подъем на вершину высшей категории трудности. Миша согласился руководить альпиниадой.

После тщательной подготовки ему удалось в начале августа провести массовое восхождение на Северную Ушбу. Вершину штурмовали сорок пять альпинистов из Тбилиси, Кутаиси, Местиа и других мест Грузии. В основном молодежь: парни, девушки. В знак особого расположения Миша удовлетворил просьбу семидесятилетнего Алмацгила Квициани, старейшего альпиниста, сподвижника отца, — включил его в группу. Алмацгил жил под Ушбой, но до сих пор не побывал на ней. Разве не обидно? Старик был несказанно рад.

Восхождение прошло удачно и стало причиной большого праздника для всех грузинских альпинистов. Руководитель штурма, отвечавший головой за каждого, был изрядно измотан.

Теперь Италия. Доломиты, куда они поедут, имели вершины с отвесными стенами по шестьсот, восемьсот и даже тысячи с лишним метров. Маршруты чисто скальные, то, что надо Тигру скал. Он, конечно, постарается достойно представить отечественный альпинизм, как он это делал и раньше. Миша вылетел в Москву.

Поездка в Италию советских альпинистов по независящим от них причинам не состоялась. Перенесли на следующий год. Почти месячная бездеятельность, связанная с ожиданием выезда, выбила его из графика нормальных скальных тренировок. Он вышел из формы.

Однако, принимая в октябре старт одиночного лазания на всесоюзных соревнованиях в Ялте, он надеялся, что выиграет и на этот раз. Он исключил все скорости, он рвался вверх, торопя себя, он много бы дал за победу. И он был близок к ней. Но в самом конце трассы, в каких-то пятнадцати метрах от верха, он, вдруг, почувствовал в боку резкую боль, словно кололо изнутри что-то острое. Взбунтовалась не подготовленная к такой нагрузке печень, раньше он подходил к пику спортивной формы постепенно. В глазах поплыло, ноги стали ватными, но он не остановился и продолжал лезть вверх. Скорость упала. Каждый шаг давался ему с невероятным трудом. «Я поднимал свои ноги руками».

Из-за сбоя специальных тренировок — в последние сезоны в скалолазном соревновании он готовился по целому месяцу — он даже думал пропустить этот чемпионат. Но интересы команды заставили вылететь в Крым.



лежит правее нашего маршрута. Считаю маршрут Моногарова первопрохождением». Пусть люди получают свои медали.

Не стал он спорить и за «зеркальный» приоритет, тем самым отдав предпочтение команде Моногарова, прошедшей в 1964 году. Он сам снял с себя венок и надел на шею соперника. Все обошлось без воплей и биений в грудь.

Боже, как быстро стареет успех! Еще вчера твоё достижение было рекордом, потолком, почти невысказанным завоеванием, добытым на пределе человеческих мук, сегодня оно — пустяк, а завтра — уже забыто. И слава поворачивается уже к тебе в профиль, и того смотри — совсем отвернется. Был триумф? Да был ли он? Какая, право, тоска...

А он еще надеялся столько сделать. Но кто он теперь — без легенды, без былого авторитета?! В чем его полезность, смысл, долг, в чем служение?! Хоть бери и кричи, как пшавелевский Змеед: «Горе мне, я клад потерял!».

Пионер отечественного альпинизма, последняя из могикан прославленной семьи Джапаридзе, почти святая женщина Грузии, мать всех альпинистов Союза, чувствуя психологический надлом Хергиани, поспешила в Москву, в Федерацию. В этой осенней сутолоке, царящей в коридорах и кабинетах высшего альпинистского органа, когда решалась судьба медалей чемпионата страны, когда десятки страждущих претендентов толпились у заветных дверей, когда за суетою дел не мудрено было забыть или упустить что-то важное, седая Александра просила об одном — о поощрении Михаила Хергиани за массовое восхождение на Ушбу грамотой Комитета. Она хотела вернуть ему ощущение успеха, вернуть веру в себя.

22 ноября в театре Руставели общественность Тбилиси чествовала участников летнего восхождения на Ушбу, чествовала его руководителя. Как нечто нереальное, отзвеневшее, как розовый сон воспринял он это событие.

А может быть, он уже исчерпался, иссяк? Нагрузки все росли и росли. Трудности становились все предельнее. И не было передышки. Разве передохнешь: чуть расслабился — и поезд ушел. Но он не роптал на судьбу, принимал эту гонку, нес терпеливо бремя диких нагрузок и риска. Он лидер, он в тигровой шкуре, ему иначе нельзя.

Но сколько сил отпущено человеку? Он уже лыс, худ и даже пятнист. Как он износился за последние годы.

Скорее по инерции, чем в силу внутренней потребности, он выехал зимой в Приэльбрусье работать тренером по горным лыжам.

Во время трехдневной спасаловки (искали попавшего в лавину лыжника) он простудился и заболел.

10 марта, несмотря на слабость — болело горло, знобило, — он заставил себя выйти на поисковые работы, но к вечеру окончательно свалился: кашель, температура.

Тигр не обращался к врачу. Он не просил ни у кого никакой помощи. Тигр замкнулся. Люди, окружавшие его, могли услышать в эти дни не свойственное ему: «Оставьте меня в покое».

Находясь в состоянии прострации, он не мог сразу понять, что за люди с бутылками вина и снедью так бесцеремонно распахнули двери, что за веселье, что за смех...

Бог мой, ведь сегодня 23 марта, ему исполнилось 37! Он совершенно забыл об этом.

Через несколько дней — врач лагеря, случайно узнавшая о его нездоровье, после дотошных распросов и осмотра определила пневмонию («Неясно только, какого характера?») — Мишу отправили в Тбилиси.

Като принялась лечить его народными средствами — козьим жиром, настоем шиповника, медом с алоэ. Больному стало чуть легче.

Но Миша понимал, что не в меде и алоэ дело, а в том, что приближался сезон — да, да, сезон! — в сезоне все решится. Он верил: вернется успех — вернется здоровье. Надо только постараться взять себя в руки и готовиться, чтобы выступить как следует в Доломитах, на Памире, в Крыму. Так и только так!

Тигр заявил о своем намерении штурмовать южную стену пика Коммунизма, на которую когда-то замахивался Абалаков, самую трудную стену Союза.

Узнав об этом, врач лагеря прислала ему большое письмо. «Миша, наберись терпения и прочти внимательно все, что я напишу.

Насколько я могу судить... твоё обследование существенно не продвинулось, и, несмотря на это, а может быть, именно благодаря этому, ты все-таки едешь в эту безумную экспедицию...

...То, что у тебя одна вспышка туберкулеза прошла без лечения, вовсе не является доказательством, что без лекарств обходиться предпочтительнее во всех случаях жизни. Просто у тебя достаточно крепкий организм, чтобы однажды справиться с болезнью без лекарств, но сейчас ты должен понять, что нельзя полагаться на авось или бросаться в другую крайность — смиренно ожидать смертельного исхода, уверовав в свою обреченность без всяких к тому оснований.

Между прочим, твоё уныние очень просто объяснить. Всем людям, редко болевшим, даже если болезнь протекает не в тяжелой форме, кажется часто, что она (болезнь) никогда не кончится и они непременно умрут. Вот ко всякого рода травмам ты привык, и если бы ты несколько месяцев пролежал с каким-нибудь переломом, тебе ведь не пришлось бы в голову, что ты умираешь? А ведь при переломе у тебя было бы больше неприятных ощущений. Зато уж сейчас с непривычки... твоё разывравшаяся фантазия привела к выводу, что ты умираешь...

Пойми, ты по собственной неосведомленности попал сейчас в замкнутый круг. Сначала ты отказался от лечения и ни разу даже не потрудился сказать мне, что тебе не становится лучше, а теперь, когда болезнь не проходит сама по себе, как ты того ожидал, тебе уже кажется, что она не пройдет вообще и у тебя остался только один выход — «красиво умереть в горах». Как умереть — это, конечно, дело вкуса. Я бы, например, предпочла разбиться в самолете. Но это уже другая тема. Я еще могу понять отказ от лечения в случае, если тебе вооб-



ще надоело жить. Но ведь, насколько мне известно, у тебя-то для этого нет никаких причин, по крайней мере достаточно серьезных.

Все это я пишу тебе с единственной целью, чтобы ты наконец понял, что из этого замкнутого круга есть еще один выход и гораздо более разумный, а именно — немедленно начать лечиться».

Далее следовали подробные рекомендации по приему лекарств.

«...То, что я тебе напишу в заключение, возможно, тебя удивит... Я до сих пор не знаю, что является большим безумием, рекомендовать тебе действительно все это принимать, как я тебе расписала, или твое решение ехать в экспедицию в таком состоянии и не принимать ничего, потому что такое лечение нужно получать в больнице или уж по крайней мере под врачебным контролем. Но ведь согласишься, что ехать туда больным все-таки большее безумие...».

— Милый доктор, ничего-то ты не понимаешь. Меня могут исцелить только горы... исцелить или погубить. В них и причина, и следствие — в них все. В них и спасение. Другого пути у меня нет.

С апреля он начал тренировать на скалах Ботанического сада и в Цавкиси скалолазов Школы высшего спортивного мастерства. Эти четкие часы занятий помогли включиться в тренировки самому тренеру.

Он уже вышел из оцепенения, он уже нацелился на сезон. Он уже запускал себя на всю катушку: Италия, Памир, Ялта... Он верил: вернется легенда Тигра — вернется все: слава, здоровье, жизнь!

## ИТАЛИЯ: ВА-БАНК

8 мая он написал письмо Джумберу Кахиани.

«Здравствуй, Джумбер! Желаю тебе хорошей жизни и здоровья, надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Джумбер, я обижен на тебя: прошло столько времени, а ты еще не выслал заявление на участие в высотной экспедиции.

Теперь о делах.

Ты являешься моим заместителем во всех вопросах, и тебе придется поработать. Ты должен провести пятнадцатидневный сбор, в Айламе с 10 по 25 июня... Я, может быть, буду в это время в Италии. Моя поездка в Италию очень кстати: я оттуда могу кое-что привезти для экспедиции — газовые примусы и баллоны, которые нам очень пригодятся для стальных восхождений.

Смету утвердили, приказ подписали. Так что, помогай мне. Я немного болею... Все надежды мои на тебя!

Я и Мито Оболадзе выезжаем 11 мая в Москву насчет снаряжения...»

13 мая в Москве ему вручили письмо из Франции. «Моншер камарада» приглашали в Париж. «Общее собрание и еже-

годный ужин. Высокогорной Группы в 1969 году в связи с 50-летием организации этой Группы будет носить особый характер. Мы весьма рассчитываем на присутствие членов Высокогорной Группы на этой дружеской встрече, которая будет проходить в сельской корчме в лесу Фонтенбло».

После успешных выступлений на международном слете в Шамони он был принят в Высокогорную Группу французского альпинистского клуба, о чем ему «с удовольствием» сообщил в прошлом году президент Группы Робер Параго.

Приятно, конечно, отужинать в Париже с альпинистской элитой мира — пустяк: сел, да поехал, — но... время-времечко, будет ли оно?!

«14 мая вернулись из Москвы в Тбилиси. В Москве был у врачей, осмотрели, сделали рентген, но ничего не оказалось».

Это его очень взбодрило. Он лишний раз утвердился: корень хвори в другом. Он старается больше не думать о болезни. Благо, колесо сезона быстро раскручивалось.

Итак, первым местом была Италия.

7 июня он прибыл на недельную тренировку в Ялту, где его уже ждали спутники по предстоящей итальянской поездке — Вячеслав Онищенко, его шамонийский напарник, и Вячеслав Романов. Олег Космачев, также включенный в состав команды, тренировался у себя в Алма-Ате.

Жили в излюбленном Мишином месте — в Нижней Ореанде.

«10 июня... Пока мне хорошо, думаю, что здоров, но иногда на тренировке трудно дышать...».

Он ощущал в себе воскрешение.

11 июня написал письмо брату в Местиа.

«Анвар, здравствуй! Надеюсь, что все здоровы. Хочу написать о своих путях-дорогах, чтобы вы были в курсе моих дел: когда и где буду. Сейчас я в Ялте. 15 июня улетаю в Москву. 18 июня утром — в Италию. Двадцать один день буду делать там восхождения. Оттуда вернусь в Москву и улечу в Среднюю Азию. Из Средней Азии, наверное, приеду в конце августа. Очень плохо не чувствую, но немножко болею. Но бояться нечего. Ну а так как я спортсмен, то это «немножко» мне немножко мешает.

Анвар, верхнюю одну комнату дай хорошему мастеру, чтобы он закончил ее. Если он сразу захочет денег, найди где-нибудь до моего приезда, одолжи у кого-нибудь. Как приеду, сразу верну. Сколько бы ни стоила эта работа. Так и знай.

Привет всем! Желая тебе всяких благ! Твой брат Чхумлиан».

С каждой тренировкой возвращались силы, форма, уверенность. Его умение — оно же никуда не делось!

15 июня, как и планировали, вылетели из Крыма в Москву.

Окончательно уточнился состав сборной. Главным забойщиком команды проходил, как и прежде, Михаил Хергиани. Никто не собирался его списывать. Вторым номером значился Вячеслав Онищенко. Далее шли неоднократные призеры все-

союзных чемпионатов по альпинизму и скалолазанию Олег Космачев, Вячеслав Романов и Владимир Кавуненко, с кем в паре выступали когда-то в Болгарии. Здесь было собрано все лучшее, чем располагал Союз для чисто скальных доломитских восхождений. В роли руководителя этой маленькой экспедиции был утвержден начальник отдела альпинизма Комитета Михаил Ануфриков.

Планы были такие: совершить в Доломитах (районы Чиветты и Лаваредо) восхождения по известным классическим маршрутам, а потом пройти несколько рекордных стен, в частности северо-западную Чиветты, протяженностью около 1.200 м. Все было по силам: народ отправлялся отважный.

Получили новое снаряжение: каски, рюкзаки, дюралевые карабины. Вибрама не было. Запаслись остроносными галошами — «тайным оружием русских».

«19.VI.69. Здравствуй Като! Я нахожусь в Москве. Восемнадцатого должны были улететь, но почему-то поездка задерживается. При возвращении из Италии, я, может быть, заеду. Вещи, которые мне не понадобятся на Памире я передам через Леху, который у нас был. Он привезет. Он придет с женой. Когда я в Москве, я всегда у него останавливаюсь, он отдает мне всю квартиру. И поэтому постарайся хорошо встретить: все отдай, все-все! В Тбилиси они будут дня три, а потом на несколько дней уедут в Сванетию.

Может быть, я приеду домой в конце августа. Като, я совсем забыл, зарплату мою ты не сможешь получить без доверенности. Займи где-нибудь. Пусть Шалва оштукатурит лоджию и постелит там линолеум. Проследи, чтобы было и хорошо, и не слишком дорого.

Да смотри, не сожги телевизор! Скажи Ладо, он научит как им пользоваться.

Если надо что-нибудь срочно, дай мне знать по адресу: Москва, улица Успенича, дом № 3, кв. 66. Когда вернусь из-за границы, я эти письма получу.

Чхумлиан».

Волокита задержала вылет команды на целую неделю.

Лишь 25 числа вылетели в Рим.

«26.VI. У меня так много впечатлений, что не помещается в голове».

Вечером того же дня советские альпинисты сели в поезд и утром следующего были в Милане. Осмотру города был отдан только один день.

В Милане — здесь располагалась штаб-квартира итальянских восходителей КАИ (Клуб Альпино Итальяно) — встретились с итальянскими альпинистами.

Утром 28 июня хозяева подбрасывали на своих машинах советских коллег в район действия экспедиции, к массиву Чиветты. Пора было приниматься за дело.

Мелькали деревни и поселки провинциальной Италии. Вот нечто оригинальное: бар К-2, в честь успехов итальянских восходителей из Гималаях; церквушка с четырьмя большими ре-

продукторами для подачи колокольного звона с магнитофонной ленты.

Доехали до Агордо, небольшого опрятного городка провинции Беллуно, дальше пошли пешком вслед за уходящим с вещами вездеходом. Дорога крутая. Вот они, знаменитые Доломиты!

Серо-голубые полосатые скалы, весьма похожие на крымские, только более грандиозные. Чистые отвесы — по несколько сот метров. Некоторые вершины, отделившиеся от массива, торчали как столбы.

В плане массив напоминал четырехлапого паука. Главная Чиветта — его тело; Торре Венеция, Торре Триест, Чима делла Сассе и Торре Колдай — кончики лап. Отдельным полем за Торре Венецией стоял Банкон. Основные стены располагались в гребне, идущем почти по прямой от Торре Венеции до Торре Колдая. Это северо-западные стены вершины Су-Альто, главной Чиветты (3.218 м), на которую еще в Москве облюбован основной рекордный маршрут протяженностью 1.200 метров, башен Лаго, Вальгранде, Аллеге...

Ряд знатных стен имели вершины, стоящие рядом с горной хижиной Марио Ваццолер, ставшей базой экспедиции, — уже упомянутые Торре Венеция, четкая и элегантная, как парус бригантини; Торре Триест, торчащий, как пузатая бутылка, прямо из травы; Банкон, похожий на Венецию, но более крупный.

29 июня миланские альпинисты давали пояснения по вершинам и стенам. Главная Чиветта — четкий широкий треугольник с небольшим изломом у вершины с многослойными, как пирог, скалами — смотрелась утешающе. Левая подовина стены была почти отвесом. На все 1.200 метров спала скальная гладь.

— Ла парете делле парети (стена всех стен)!

Почти в мистическом восторге произносилась эта фраза, подкрепляемая всякий раз категорическими жестами, какие могут делать только итальянцы.

На этой «стене всех стен» Миша наметил свой рекордный подъем, который намеревался сделать через неделю, когда сойдут остатки снега с предвершинной части и подсохнут потеки и мокрые пятна.

Представив гостям вершины, сопровождавшие альпинисты отбыли в Милан.

*Окончание следует*

Гиви ОРДЖОНИКИДЗЕ

## КАВКАЗСКАЯ КИНОПОВЕСТЬ

Откровенно говоря, мне не нравится слово «экранизация». В нем имеется некоторый оттенок, сближающий данный термин с понятием «переложение», а в последнем имеется прикус пассивного. Режиссер в данном случае оказывается между двумя искусствами, и задача его заключается в приспособлении специфики одного к другому.

Что же должно происходить на самом деле? Кинорежиссер должен предложить свою собственную интерпретацию классического материала, такое его прочтение, которое сможет вас убедить: да, все это нуждалось в средствах именно кино. Более того, к Толстому стоило возвратиться ради такого его понимания.

Чем же импонирует «Кавказская повесть» и что привнес в интерпретацию «Казаков» Г. Калатаозишвили, что заставило нас пережить по-новому новеллу Толстого? Известно, что сословная разобщенность, классовое неравенство, межгосударственные и межнациональные противоречия не способствовали возникновению у людей ощущения ценности тех, кто не принадлежал к их сословной группе. Красота «крестьянская» в ее специфическом преломлении не ощущалась дворянами, ибо у них было свое понятие красоты, обусловленное их классовыми предрассудками. Точно так же ценность культуры, обычаев малых народов, более того, их особенности вызывали самое пренебрежительное к себе отношение. Даже произношение (в устах иностранца любая речь подвергается искажению) могло послужить причиной иронии над «инородцами».

Одно из самых больших значений кавказской темы в русской литературе в том, что она вместе с поэзией природы ввела в литературу образ человека совершенно иного психического склада, свободного и гонимого, мужественно отстаивающего независимость и горячо откликающегося на чувство дружбы. Это было невероятно, но человек искал человека, казалось бы, сквозь непреодолимые преграды религиозной вражды, войны и расовых предрассудков. Великая русская литература с большой силой реализма отразила трагическое противоречие между ис-

тинно человеческим стремлением к взаимопониманию и дружбе, с одной стороны, и колониальной политикой — с другой.

Сегодня повесть Толстого «Казаки» воспринимается не только как документ, клеймящий самодержавную политику, по-рабощения народов Кавказа, но и как проникновение в суть человека, как указание на его врожденный нравственный принцип, который должен был преодолеть уродливость социального строя, вывести человека на путь истины, на путь признания ценности даже тех, кто по тем или иным причинам противостоял ему. Именно в среде свободных поселенцев, если можно так выразиться, в авангарде России на Кавказе более всего ощущался процесс преодоления исторического отчуждения между разными национальностями. Историческая судьба противопоставила казаков горцам, обратив их взаимоотношения в бесконечную войну. Однако жизнь научила казаков уважать чисто человеческие достоинства своих вечных соперников. Потому-то кавказская война должна была себя исчерпать, так как ее, помимо всего прочего, разрушало внутреннее противоречие, врожденное чувство справедливости.

Ерошка и Лука. Лука молод, еще не задумывается над происходящим, не видит за кордоном людей. Преимущество же Ерошки — преимущество огромного жизненного опыта, прозорливости и пытливости ума. Он охотник и бродяга, несколько опустившийся человек, готовый за чужой счет выпить, а при случае и выклянчить что-либо. Но беспокойная мысль его ищет ответы на трудные вопросы. Лука же и не задает их себе. Он убил чеченца — и все. Так полагается на войне. У Ерошки смерть горца вызывает жалость, и режиссер, кстати говоря, подчеркивает этот психологический мотив. Подобная интонация (отражающая идею человечности, преодолевающей узаконенное преступление — войну) утвердилась еще в «Кавказском пленнике» — первом фильме на тему Толстого Г. Калатозишвили и в полной мере прозвучала в «Кавказской повести».

Другая идея «Казаков» связана с образом Оленина. Если строго придерживаться исторической ситуации, то ясно — карьера Оленина в Москве не удалась, и потому, подобно многим представителям своего круга, для разрешения житейских проблем он отправляется на Кавказ. Но не только ради них. Здесь, на Кавказе, его ждали природа и люди, не потерявшие связи с нею. Оленин увлечен Кавказом, казаками, Марьяниной. В них, по его мнению, нет фальши, столь глубоко проникшей в столичную жизнь. Кавказ и кавказцы в его глазах обретают значение подлинного, он тянется к ним. И счастье кажется таким близким: любимая девушка отвечает взаимностью. Если б не роковой случай, если б не гибель Лукашки...

В какой же мере жизнь казаков может представлять интерес для современного зрителя? Ведь поступательное движение истории смело все условия, породившие «феномен Оленина». Если так, то любовный треугольник из повести Толстого был бы не менее актуален, чем семейный портрет не известных нам лиц. Нет, дело обстоит иначе, и история Марьянины и Оленина сохраняет живость подлинного даже для нашего времени, хотя социальные условия психологических мотивов и подверглись радикальной трансформации.

Оленин бескомпромиссен в своем любовном чувстве. Ведь и в Москве он расстался с женщиной, к которой не испытывал любви, а лгать он не мог. Марьянну же он полюбил, хотя многое в ее поведении могло и покоробить человека его воспитания. Он оценил в ней самое главное: естественность, достоинство и силу духа. Он был готов порвать с прошлым, Москву, переселиться сюда и зажить жизнью поселенца. Был готов, но любовь его не выдержала первого же удара. И Оленин постыдно бежал. Произошло это потому, что чувства его не опирались на глубокий жизненный интерес, духовно значительный, и первое же препятствие развалило их. Разве все это принадлежит лишь прошлому?

К поступку Оленина можно отнестись по-разному: ему отказали, он уехал. С другой стороны, если на происшедшее взглянуть непредубежденным взглядом, то Оленин в главном оказался несостоятельным. И разница между ним и Лукой говорит не в пользу Оленина. Ведь был же Лука уверен, что женится на Марьянне, но он хотел не только жениться, он добивался ее любви («Что замуж пойдешь! Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка»). Пылкость не всегда свидетельствует о глубине чувства, глубина чувства — не гарантия, что человек будет за него бороться.

Этот узел проблем, естественно, решается и на примере судьбы Марьянны. Если отвлечься от частных деталей, то ее линия поведения в схеме выглядит так: она девушка Лукашки, и путь ее предрешен — она любит его, гордится его храбростью и успехами, никто не препятствует их браку. Но вот появляется Оленин. В какой-то момент русский офицер одерживает над своим соперником победу. Марьянна, хотя и не сразу и не без внутренних колебаний, однако ж достаточно ясно дает понять своему Лукашке, что она вольна выбирать того, кого захочет. Этот избранник — Оленин, и слова ее подтверждаются той нежностью, которую она проявляет к нему.

Чем же мог привлечь девушку Оленин и почему разочаровался ей Лука? Были здесь, очевидно, и тонкие психологические причины (из такого рода дела, как известно, невозможно полностью исключить подсознательное). У Оленина были и очевидные преимущества: он был образован, деликатен. Предложив ей свою руку, он возвысил девушку в ее собственных же глазах. Марьянна ошеломлена и богатством, и положением Оленина. Мотив этот проступает и в произведении Толстого, и в фильме: нацеживая вино Васюшке и слушая рассказ денщика о богатстве Оленина, она сохраняет внешнюю невозмутимость, но чуть приподнятые брови и загоревшийся взгляд красноречиво свидетельствуют о том впечатлении, которое произвело на нее услышанное. Да, у девушки начинает кружиться голова: то, что было само собою разумеющимся, начинает обесцениваться, а то, что принадлежало области иллюзии, превращается в реальность, начинает манить. Оленин побеждает не только силою чувства, но и своим положением. Быть может, в финале повести, в молитве Марьянны, в ее желании поскорее избавиться от Оленина поэтому столь громко звучит интонация горечи и покаяния. Заслуга режиссера в том, что он не ока-

зывает «давления на зрителя», предоставляя ему самому судить о нравственной стороне поведения девушки.

Мне нравится режиссерская работа Г. Калатоцишвили. «Кавказская повесть» — произведение зрелого мастера кинематографа, интуитивно вдумчивого, хорошо осознавшего свою цель и способного ее претворить. Что-то режиссеру удалось в большей степени, что-то в меньшей, но он достиг главного: сумел воплотить дух повести Толстого, ее пафос, образный материал, добился главного — естественности и искренности в игре актеров.

Каждый актер, разумеется, действует согласно своей актерской природе, однако режиссеру удалось создать ансамбль, в котором обилие характеров не приводит к пестроте и режиссерская идея не тускнеет. Г. Калатоцишвили не насаждает на съемочной площадке театральность со всей присущей ей детальной разработанностью актерского поведения, интенсивностью мимики, бесконечным процессом вживания в предполагаемые обстоятельства и бесконечным преодолением дистанции к характерности образа. Его персонажи в лучших традициях кинодокументальны, достоверны. Они, разумеется, сохраняют неповторимость актерской личности, но главное заключается в том, что даже при явном пластическом и психологическом контрасте они взаимодополняют друг друга, раскрывая главную закономерность людских контактов: порою крепких и надежных, основанных на единстве фундаментальных жизненных интересов, порою же хрупких, ломких, не выдерживающих первого же испытания.

Вопрос о том, насколько удался кинопортрет, в какой-то мере решается ощущением его сходства с литературным героем. Однако даже тщательное описание писателем внешности и наружной пластики героя не обязывает режиссера придерживаться «словесного портрета». Живая натура, «фактура актера» дает возможность свободно оперировать. Другое дело — **духовное подобие**. В этом плане непростительны как неточности, так и слепое следование оригиналу. Ибо если актер обладает духовной индивидуальностью, если он и режиссер слышат свое время, то переакцентация обязательно произойдет. Время требует чуткости к себе и, следовательно, трансформации образов. И выполнение этого требования — единственная возможность сохранения достоверности характеров, только в таком случае не будут они восприниматься как музейные экспонаты. Это требование учтено и Г. Калатоцишвили, хотя он и мог подвергнуть образы героев более радикальному переосмыслению.

Пожалуй, в наибольшей степени подобной переработки требовал образ Оленина. (Я хочу подчеркнуть, что правомерность трактовки, предложенной режиссером и артистом, не вызывает сомнения, все здесь продумано, образ отмечен цельностью и вполне соответствует литературному первоисточку). И все-таки этому образу не хватает остроты, он в какой-то мере даже слишком правилен. Метания Оленина как бы полностью ущемляются — в рамках его личной судьбы, а хотелось бы видеть более значительный характер, чтобы в обрисовке Оленина преобладал психологический крупный план, чтобы контрасти-



рующие краски обрели бы большую ясность. Оленин убегаёт от фальши и неестественного, жаждет большого чувства, близости к природе, но есть ли в его бегстве приближение к этим заветным ценностям, обладает ли он сам правом на обретение их? Вот на какой вопрос следовало попытаться дать ответ.

Поиск ответов на вопросы, возникшие благодаря собственному жизненному опыту, поиск своего места, своей линии поведения, неприятие лицемерия и фальши того общества, к которому принадлежит герой, способность бросить вызов пред-рассудкам, увлекаемость и непосредственность — именно эти моменты акцентированы В. Конкиным в актерской интерпретации образа Оленина. Люди кавказских гор притягивают его к себе и одновременно смущают, он влюблен в эту жизнь, но немного и растерян перед лицом величия ее простоты. Любовь вспыхивает в нем внезапно и разгорается стремительно. После встречи с Марьянной у Белецкого надежда подхлестывает юношу, а боязнь, что соперник может опередить, окончательно лишает его душевного равновесия. И тут пластика Конкина меняется, более порывистым становится жест, беспокойным ритм движения, трепетной — интонация. Конкин и Дирина (Марьянна) прекрасно играют сцену объяснения в любви. Он — нетерпелив, напорист. Она — серьезна и сосредоточенна. На его страстное признание она отвечает недоверчивыми репликами, в которых тем не менее ощущается ее увлеченность, борьба с собою.

Все-таки артисту не до конца удалось избежать статичности, характерной для портретов на холсте. Быть может, в этом определенной вине ложится и на режиссера, который довольно часто ставит своего героя в стереотипные созерцательные позы (например у окна). В данных эпизодах на «соответствующей волне» элегической созерцательности работает и музыка. Хотелось бы большего внешнего контраста между Олениным и Белецким (Попков). Ведь характеры у них совершенно разные.

Марьянна в исполнении С. Дириной — безусловно интересный образ, привлекающий значительностью характера. За внешним ее спокойствием, порою даже бесстрастностью (лишь глаза выдают глубокую натуру) угадывается скрытое беспокойство, не просто любопытство, а желание «разобраться», найти свой путь, защитить свой принцип. В красивой, но редко появляющейся на лице улыбке Дириной, в ее замедленном движении, даже в какой-то скованности жеста ощущается большое достоинство, сила характера, чисто девичье недоверие к мужчине. Бытовая характерность в ее игре несколько заретуширована (только лущение семечек врезается в память как неизбежная, но не очень поэтичная деталь). Зато она обращает на себя внимание своей эмоциональной обособленностью, каким-то внутренним ощущением своего «я». Если б не эта цельность характера и не волевое начало, столь недвусмысленно проявляющееся в игре актрисы, психологически неубедительной оказалась бы концовка фильма, та решительность, с которой Марьянна отвергает Оленина. Уже в повести Толстого образ Марьянны несколько нарушает расхожее представление о казачке: она отнюдь не отличается лихим темпераментом и жгучей эмоцио-

нальностью. Но, несмотря на определенную эмоциональную односторонность, в исполнении Дириной нет повторений и тем более пустот. Пластический ее язык хотя и немногословен, однако выразителен.

Пожалуй, наиболее яркая актерская удача фильма — Ерошка в исполнении А. Гомиашвили. Это — цельный, богатый образ. Актер достигает убедительного единства внешнепластического рисунка и эмоционально-духовного начала. В его Ерошке более всего привлекает живость шальной натуры, обураваемой земными страстями (он в прошлом вор и воин, бродяга по натуре, искусный охотник, не дурак выпить). Все это сочетается с инстинктивной мудростью, опирающейся на богатый жизненный опыт. Старик способен понять человека, посочувствовать ему.

Гомиашвили — актер богатой фактуры. Он импульсивен, улыбка его подкупающая, добра, гнев — наигранный, быстро проходящий. В его поведении чувствуются бравада, поза, какое-то неуловимое кокетство, в особенности когда он ипрает на зрителя (т. е. на Оленина). Но это не бодрящийся старик, а человек, счастливо сохранивший молодость души, и когда он что-то рассказывает, то не просто вспоминает былое, а вновь переживает его.

Удачен А. Буклеев в роли Луки. Привлекают его мягкость, грудной, чуть приглушенный голос, неторопливые, плавные движения, светящееся простодушием лицо. Он держится с достоинством, говорит неторопливо, даже в психологически острых моментах сохраняет определенную душевную уравновешенность.

Из остальных персонажей мне хотелось бы отметить Назарку (С. Тимофеев), хорунжего (Ю. Сагьянц), хороши Устенка (в исполнении Н. Бутырцевой) и Белецкий (Н. Попков).

Более всего привлекает меня интонационная выразительность фильма Калатоцишвили. Собственно о музыке будет сказано несколько позднее, в данный же момент хотелось особо отметить культуру речи персонажей. Г. Калатоцишвили сохраняет столь свойственное языку Толстого неповторимое единство глубины и спокойствия, характерности и естества, красочности и эмоциональности. Режиссер избегает форсированного, режущего звука, даже в драматически острых сценах удачно снимая сверхнапряжения.

Эпические творения Толстого, а тем более повесть «Казак», отличаются напряженным сюжетом. Писатель диктует свой ритм кинематографу, и Калатоцишвили ощущает это. Ему удалось вместить в ленту огромный материал, видовой и психологический, диалоги и размышления, бытовые и батальные, лирические и жанровые сцены, линия действия у него разветвляется сообразно повести, и все это подчинено логически развивающейся структуре.

Режиссерское мастерство непосредственно ощущается в смене ритма действия, в самом характере чередования эпизодов. В фильме в общем-то придерживается ритм неторопливого рассказа, однако после любовного объяснения Оленина с Марьянной он заметно убыстряется. Казаки готовятся к облаве на

чеченцев: суматоха, беготня и сооры, крики всадников, отдаленные выстрелы — и все это на фоне пульсирующей музыки. Отбывающиеся чеченцы, их молитва и пение, и наконец развязка: ранение Лукашки, расправа над чеченцами, мерзавские свечи и лицо истрадавшей Марьянны: то ли молится, то ли исповедуется. Короткий диалог Оленина с Ерошкой. Прощание. Бричка, покидающая поселенье. Впереди — заснеженные горы. Печальная музыка. Просветленная грусть колоколов. Все эти сцены следуют друг за другом в нарастающем темпе, нагнетая психологический эффект поражения Оленина.

Удаче фильма Г. Калатоцишвили не в малой степени способствует работа художника Р. Мирзашвили и оператора Н. Рухадзе. Операторская работа ценна прежде всего реализацией режиссерского замысла, наглядностью его идеи. «Кавказская повесть» — материал специфический, и успех оператора во многом зависел от того, как размещены акценты между относительно неподвижным ландшафтом и событийной стороной. Красота пейзажа в фильме не превращается в самостоятельную тему, но и не теряет своей яркости, сопresentствует, образует глубинную перспективу кадра, подчеркивает естественность героев. Заснеженные вершины Кавказского хребта — своего рода живописный лейтмотив, время от времени возникающий на заднем плане кадра, придающий ему величественное звучание. Перспектива оживляется крутыми склонами гор, серпантинном выходящей дороге.

К сожалению, режиссеру не удалось избежать многословия и растянутости. Можно понять благоговейное отношение к любому слову Толстого. Если не иметь в виду специфики кино, то «сокращать» Толстого — кощунство. И бережность к первоисточнику проявляется в первую очередь в бережном отношении к тексту, каждому слову писателя. Однако у кино свое ощущение времени и пространства, их протяженности. Очевидно, в соотношении литературного с кинематографическим свое решающее слово должна сказать специфика именно киномышления. Думается, в фильме Калатоцишвили ряд эпизодов следовало бы сократить не потому, что они плохо поставлены, а потому, что для «киновремени» они излишни.

Например, совершенно необязательна сцена встречи Ерошки с Лукашкой. Здесь режиссер больше следует за буквой литературного сценария и меньше, к сожалению, прислушивается к собственному «кинематографическому чувству». Можно было обойтись без музыки в сцене встречи Лукашки с сестрой, да и вообще, если бы мы знали меньше о семье Лукашки, фильм от этого не стал бы беднее; литературное время емкое, время же в кино физически более осязаемо, способно «растянуть действие». Поэтому, быть может, следовало пожертвовать красочными жанровыми сценами, кое-какими подробностями жизни в доме хорунжего, монологами Ерошки.

Кстати о монологах. О трудности перевода на кинематографический язык внутреннего монолога свидетельствует сцена, в которой Оленин пишет письмо. Здесь дело не только в том, что практически невозможно сохранить весь текст Толсто-

го (а ведь «сжатие» означает исчезновение важнейших психологических мотивов, упрощение и схематизацию). Как это ни парадоксально, дело осложняется тем, что изобразительный ряд распыляет восприятие, не позволяя зрителю полностью сосредоточиться на слове: «Я каждый день вижу пред собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца...». И вот по ходу текста чередуются изображения Марьянны и гор. Все это не конкретизирует, а ослабляет впечатление. Ведь главное в письме заключается в признании удивительности любовного чувства, преодолевающего сословные предрассудки и душевную незрелость. Сперва Марьянна символизировала для Оленина красоту природы, затем в ней он почувствовал человека. В естественности — ее подлинная ценность, и он с горечью признается, что ничего достойного ее он не в состоянии предложить. В фильме этот поток чувств как-то измельчал. Но виноват ли в этом режиссер или же проявилась какая-то более общая закономерность? Наверное, любое искусство при контакте с другим, даже столь тесном, когда оба превращаются в систему сообщающихся сосудов, тем не менее сохраняет что-то неразстворимым, лишь ему принадлежащим. Внутренний монолог, как мне кажется, прерогатива литературы и музыки и, быть может, — лучшее доказательство их внутреннего родства. Кинематограф, как и живопись, обладает способностью обозначить внутреннее движение, состояние и даже его динамику, но все это становится реальностью лишь при его переводе во внешнее — пластику, мимику, жест и т. д., то есть когда покидает сферу внутреннего и обретает осязаемость зримого. Внутренний монолог вносит в кинодраматургию неразстворимо-литературное или музыкальное, подобные пассажи воспринимаются как коллажи, вставки. Это — одна из издержек «экранизации» литературного материала, тот самый угол, который тщательно следует обходить. Это тот момент литературного стиля, который способен предопределить успех или неуспех работы режиссера.

Данный вопрос был заострен мною не потому, что Г. Калатошвили какие-то вопросы упустил или что-либо сделал «хуже других». Нет, в его работе много изобретательности, нельзя не отметить и бережного его отношения к тексту, потому-то в его фильме с интересом «смотрятся» и внутренние монологи. Речь идет о принципиальной стороне дела, а не только о рецензируемом фильме.

После блистательной работы в «Кавказском пленнике» имя композитора Гии Канчели появилось также в титрах нового фильма Г. Калатошвили. Естественно, возникал вопрос: сможет ли Канчели избежать повтора, найти новую и убедительную музыкальную концепцию фильма? И я рад отметить, что он нашел ее, хотя, быть может, и несколько более традиционную по своему решению.

В «Кавказском пленнике» музыка Г. Канчели была в своем роде нервом, символом непрерывной тональности, окрашивая киноповесть в просветленно-печальный тон. В «Кавказской повести» функция музыки поскромнее — она лишь сопровож-

дает фильм, но это не уменьшает ее выразительности. Г. Канчели умеет достичь красоты и уберечь ее от слащавости. Его музыка сурова и человечна, внутренне собрана и одновременно отмечена большой свободой.

Выразителен музыкальный символ Кавказских гор: напевная мелодия струнных и валторны словно вьется над заснеженными и погруженными в дремоту высями. Композитор использовал подлинные казачьи напевы, сохранив их интонационное и психологическое своеобразие. Жанровую характерность подчеркивает и солдатская музыка. Лирическая тема Оленина типична для «фонической музыки» Канчели. Своей выразительностью она особенно обязана искусному подбору тембров, рафинированности эмоционально сдержанных линий, трепетной и словно растворяющейся в ажурных звучаниях интонации.

Из всех музыкальных номеров фильма мне более дорог тот, который звучит в сцене народного гулянья. Канчели обладает искусством изображения в музыке момента, через который раскрываются все детали, весь контекст. Я уж не говорю о театральности его симфоний (в лучшем смысле данного понятия), о блистательной работе — музыке к «Кавказскому меловому кругу» Б. Брехта в постановке театра имени Руставели. Фантазия его воистину неисчерпаема. И здесь в сцене «народного гулянья» композитор находит удивительно простой и ясный «музыкальный ключ». Мелодия двух флейт, «кзаканоцне» подголоски гобоя, валторна, труба, нарочито примитивный аккомпанемент бас-гитары создают характер шарманки. Интересно, что мелодия — грузинского, фольклорного происхождения, несколько перелицована композитором. Она бесконечное количество раз повторяется, поддерживая настроение народного веселья. Ей-таки удалось внести в фильм оттенок праздничности, расширить его эмоциональный диапазон...

Две ленты по мотивам повестей Толстого — это не слишком мало для режиссера. Это, помимо всего прочего, вживание в тему, направленность творческих поисков в течение ряда лет. Г. Калатоцишвили — режиссер, находящийся в пору художественной зрелости, он снял ряд интересных картин, но, думается, именно толстовская тема принесла ему (я имею в виду его «Кавказского пленника») настоящий успех и международное признание.

Мне ничего не известно о дальнейших творческих планах режиссера, но я не удивился бы, узнав, что он работает над воплощением «Хаджи Мурата», ибо режиссерские возможности Калатоцишвили убедительно проявились в обеих его «толстовских лентах». Не удивился бы и потому, что в них он демонстрирует понимание главных психологических и социальных проблем кавказских повестей и освещает их честно и с большим тактом, потому что любой режиссер, «имеющий вкус» к Кавказу Толстого, внутренне ощущающий тему и материал, любой режиссер, не понаслышке, а по жизненному своему опыту связанный с Кавказом, почел бы за великое счастье дать свою интерпретацию этого шедевра Л. Н. Толстого.

Зоя МАСЛЕНИКОВА

## ПОРТРЕТ ПОЭТА

19 февраля 1959 г.

Вечером раздался телефонный звонок.

— Зоя Афанасьевна?

— Да.

— Говорит Пастернак. Я получил ваше письмо. Очень хорошие стихи.

— Правда? Спасибо! А письмо? Очень глупое письмо, Борис Леонидович?

— И письмо хорошее. Но письмо легко написать, а стихи трудно. Вчера я получил еще одно письмо, взволновавшее меня. Наше, внутреннее письмо, судя по адресу — какой-то номер — от юноши, отбывающего воинскую повинность. Весь день меня душили невыплаканные слезы. Письмо человека думающего, хотя и наивное, и каждая строчка дышет такой любовью, что все, что копилось за день, прорвалось слезами. Я тут же сел отвечать и даже объяснил, чем явилось для меня это письмо и почему. Я с вами заодно и прощаюсь, завтра я уезжаю или, вернее, улетаю.

— Куда? Почему? Борис Леонидович!

— В Тбилиси...

— Но это не так плохо, вы отвлекетесь.

— Нет, тут переписка, каждый день садишься за стол, это располагает к работе...

— Надолго?

— Нет, на две недели. Когда приеду, я вам позвоню. погодите минутку, я положу трубку.

После паузы он спросил:

— А почему у вас голос грустный?

— Я волновалась, не знала, как вы отнесетесь к моему письму, и очень ждала вашего звонка.

Продолжение. Начало в № 10-11 за 1978 г.

— Зоя Афанасьевна! Вы чудный человек. И не только чудный человек, но все то, что я вам написал на книжке... А с собой я беру книги, буду там читать, но не вашего пока, а Пруста и Фолкнера.

— Ну, Тбилиси вам близкий город, навряд ли вы будете там сидеть за чтением.

— Нет, мне там грустно будет. Когда-то мы были там молодыми, нас чудесно принимали, были эти пиры, горячие речи. Теперь все изменилось, старых друзей нет. Для меня сейчас переписка и моя жизнь в Переделкино — это прощание со всеми и всем, что было дорого. Помните, Пушкин перед концом прощался со всем, что любил?

И вдруг целомудренно и быстро, не дожидаясь ответа, переменяет тему:

— А в Переделкино сегодня нет света, все погружено в темноту. Между прочим, ваше письмо я только сегодня получил.

— Спасибо, что сразу позвонили.

— До свиданья, Зоя Афанасьевна, будьте счастливы, не болейте.

(Никогда он этого «не болейте» не говорил, а в этот день, хотя я ему не сказала, я была больна довольно тяжелой формой вирусного гриппа).

— До свиданья, Борис Леонидович. Желаю вам удачной поездки.

— Спасибо. А стихи очень хорошие.

2 мая 1959 г.

Второго мая ко мне в Переделкино приехали гости, человек восемь. Был теплый чудный день. Мы погуляли в лесу и возвращались по шоссе обедать. И вдруг, проходя мимо ворот Дома творчества, я увидела в глубине знакомую фигуру, направляющуюся к выходу. Б. Л. был в неизменной серой куртке с голубой рубашкой и в кепке, которая ему идет.

Я впервые видела его издали, и облик его поразил меня своей слитностью и законченностью.

Я попросила гостей идти вперед, сказала, что догоню, они не обратили никакого внимания на эту встречу.

Я остановилась в воротах, поджидая Б. Л. Он издали узнал меня, удивленно расставил руки и с обрадованным лицом, выставив вперед подбородок, устремился навстречу. Но я стояла как вкопанная, серьезно глядя на него. Он не выполнил обещания позвонить по приезду. Не переставая улыбаться, он сам взял мои руки, поцеловал их и не отпуская, пока мы разговаривали.

— Вы у меня были?

— Нет, и не собираюсь.

— А, вы к дочке приехали.

— Да. У меня гости. Мы гуляли, сейчас возвращаемся.

— Я думал вам позвонить. Вы, наверно, хотите продолжать работу.

— Ну, а как вы думаете?

— Ну, вот будет теплее.

Больше сердиться я не могла, это было самым важным.

— Значит, вы не раздумали, Борис Леонидович?

— Нет, не раздумал.

— Как ваше здоровье?

— Я чувствую себя очень хорошо.

— Выглядите вы прекрасно.

Он действительно очень свеж, лицо подтянутое, без морщин, а главное — чувствуется, что это не внешняя молодка-вость.

— А настроения?

— И настроение хорошее... Как будто все несколько улаживается.

— Правда? Есть надежда?

— Есть какая-то. Но очень хочется работать. Да все что-нибудь мешает... Надо отвечать на письма.

— Я не верю в это «надо». Просто хочется.

— Нет, действительно надо. Вот вдруг отыскалась дочь Бунина, написала мне, нельзя не ответить.

— Просто в один прекрасный день объявите переписку закрытой и садитесь работать. Раз назрело, нельзя откладывать.

— Я, наверно, так и сделаю.

Мы улаживаемся, что я приду в воскресенье семнадцатого, и расстаемся.

17 мая 1959 г.

От этой встречи у меня нехорошо на душе. Впечатление, что я для Б. Л. чужой и лишний человек, а та сердечность и дружба, что были в отношениях, кончились.

Встретила меня на этот раз З. Н. Оказалось, что она хочет поговорить со мной о переносе «всей этой музыки» на верхнюю веранду. Я согласилась.

День был на редкость жаркий, и я пила воду, когда в столовую вошел Б. Л. Он не устремился с протянутыми руками, как прежде, а как-то вяло поцеловал руку.

— Вам З. Н. говорила о желании перенести портрет наверх? Как вы на это смотрите? Там такая же веранда, как внизу, я вам не показывал? Вход из моей комнаты.

— Там ведь такое же освещение, как и на нижней? Ну и чудесно. Я хочу условиться с вами о работе. Мне нужно знать сроки, чтобы распорядиться своим летом.

— Пойдемте на террасу, поговорим.

Мы уселись на террасе. Б. Л. выглядел постаревшим, и казалось, что он чем-то расстроен...

— Сейчас мне из Германии прислала либретто оперы одна писательница. Опера по Гофману, не знаю, читали ли вы, я тоже читал так давно и не помню, что можно сказать — не читал. Есть у него роман «Эликсир дьявола». Просят об этом написать.

— Почему?

— Они хотят посвятить оперу мне и просят мое мнение. Я пишу по-немецки. И написать об этом трудно, романтизм с его построениями, ничем не проверенными, я скорее отвергаю.



Но либретто удачное. Это большой роман, а сделать из него надо было маленькое либретто. Оно написано хорошими стихами, и гофманские ужасы преувеличены, это оздоравливает атмосферу.

— Вы написали за это время что-нибудь?

— Нет, ничего, но ужасно хочется. Буду писать пьесу.

— О русском актере?

— Да. Но вы не представляете, насколько не хватает времени. Я как-то давал окантовать рисунки отца. У мастера остались запасные, но он сказал, что их отдал, а потом нашел. И вот лежит целая гора рисунков, и нет времени просмотреть их и разобрать. Поэтому давайте отложим работу. В июне ни в коем случае, хорошо? Но в июле вы скажете — жарко?

— Нет, не скажу.

— Я вам тогда дам знать.

— А вы не очень хорошо себя чувствуете. И тонус пониженный.

— Да, я сам не знаю почему, я это еще утром заметил. Наверно, потому, что задернул в комнате шторы. А что вы сейчас делаете?

Я объясняю.

— Ну вот, видите, вы сами заняты.

— С, это не помешало бы. Сеансы в 8 часов утра, к двенадцати-часу я снова работоспособна. Борис Леонидович, ничего у вас не изменилось?

— Нет, я ровно ничего не знаю. Есть какие-то обещания книгоиздательского порядка.

— А за перевод вам заплатили?

— За Словацкого? Да.

— А за пьесы идут деньги?

— Да, за пьесы и не переставали идти.

— А мне казалось, что есть какие-то мелкие признаки улучшения дел.

— Нет, по-моему. А какие признаки?

— Ну вот, по всему городу в великом множестве расклеены афиши «Короля Лира» с вашим именем, всю зиму этого не было.

— А на какие числа афиши?

— На 16 и 29 мая.

— Он очень давно не шел, болел Мордвинов, а главное — из-за дурной славы переводчика.

— Но ведь другие спектакли идут.

— А вы «Лира» видели?

— Да.

— Еще давно?

— Нет, вчера.

— Вот как! Ну, как он вам понравился?

— Очень хороший спектакль. Я не люблю современного театра — все это так скучно и неинтересно, а тут было хорошо. Мордвинов умно играет, и подкупает именно его ум в показе прозрения и очеловечения Лира, а не страсти. И хороший шут. В сцене предсказания прямо мороз по коже продирает. Но

спектакль несколько распадается на сцены, не собран в единое целое.

— Мне показалось, что на сцене как-то пусто, она слишком большая. Когда Кенту выдавливают глаза, это происходит где-то в глубине, далеко. Ну, а как в зале была атмосфера?

— Да, зал был полон и реагировал на спектакль очень хорошо, жил с пьесой.

— Вы и «Марию Стюарт» видели?

— Да.

— Она мне больше понравилась. А «Макбет» идет?

— Да. Борис Леонидович, я не хочу грабить ваше время.

— Да. Вы на меня не обижайтесь. Вы меня застали за писанием статьи о Гофмане, надо продолжать. У вас тот же телефон? Я вам позвоню.

Я открываю свой чемоданчик и достаю укутанную в черную тряпку Лару. Б. Л. почему-то ведет меня на веранду и закрывает дверь.

Я держу головку в руке, он с любопытством осматривает, заходя и справа, и слева, просит повернуть в оба профиля, показать сзади.

— Интересно. Очень интересно.

— Но это не та Лара, которую вы себе представляли?

— Да.

— А чем?

— Она более одухотворенная и измученная. Но это интересно. И прическа, и вся она того времени, она исторически достоверна... Вы пошли дальше меня, но направление, в котором вы шли, взято верно. Это — Лара.

— Я не смею так ее называть.

— Ну, что за глупости, почему?

— Потому что я ее не угадала.

— А разве такая догадка возможна?

— Возможна большая или меньшая точность догадки...

— А в Ларе я ведь никого конкретного не имел в виду. Это не портрет. Почему же другие могут называть и делать как хотят, а вы нет.

Я собираюсь уходить.

— И вы не обижайтесь. Если бы вы были другой человек, я бы пожертвовал этой статьей и письмами.

— Нет, нет, это отравило бы отношения.

Он еще задает вопросы, связанные с переноской, и я ухожу в отвратительном настроении.

18 мая 1959 г.

В 10 часов утра телефонный звонок, оказалось — Зинаида Николаевна. Она сказала, что на обеих верандах жарко, пластилин может расплавиться, ей кажется, что уже что-то произошло, а холодные места, вроде погреба, маленькие, тесные, там может повредить вещь работница. Так как Б. Л. мне сказал, что будет продолжать через полтора месяца, то лучше, чтоб на это время я забрала работу, машину она даст. Но вообще Б. Л. считает, что портрет закончен и лучше, чтоб я отлила для себя один экземпляр, а второй тогда, когда у

него будут деньги, чтобы приобрести портрет, он это <sup>хочет</sup> сделать.

На это я ответила, что считаю портрет незаконченным, конечно, заберу его. Ждать я готова сколько угодно. Что касается «приобретения», то об этом не может быть и речи. Портрет я делала не для денег и подарю его, если только он понравится, навязывать не буду.

Договорились, что я приеду в среду к 12-ти, она даст машину, и я заберу голову...

20 мая 1959 г.

Ну и денек! Меня до сих пор трясет.

Во дворе бродил шофер и стояла машина, чтобы везти голову ко мне.

Навстречу мне вышел Б. Л., и первый из многих разговоров этого дня состоялся на крыльце. Я молча взглянула на него.

— Так будет лучше. Надо с этим кончать.

Он принялся объяснять положение...

Сказал, что с его точки зрения работа завершена, очень хорошая, и ее надо отливать, что если что-нибудь и делать, то новую работу.

— Вот если со мной все будет благополучно, и вы получите государственный заказ, это будет интересно.

На все это я ответила одним словом «хорошо» — и пошла на веранду, а он за мной.

— Я хочу посмотреть портрет, — сказала я.

— Я тоже хочу.

— Борис Леонидович, когда я с вами, мне кажется, что вы все понимаете и глупо что-либо объяснять. Но потом оказывается, что это не так. Поэтому, чтоб не забыть сказать вам, что нужно по этому поводу, я написала это. Прочтите...

— Сейчас?

— Да.

Я отдала ему письмецо, в котором писала, что я вовсе не смотрю на вещи только со своей колокольни и понимаю, что Б. Л. не до портрета. Но портрет сейчас дальше от завершения, чем был осенью, потому что это время я вживалась в образ, располагая новыми возможностями, и многое понимаю сейчас иначе. Ждать возможности окончить работу я готова сколько угодно, пусть только это его не связывает, он всегда может отказаться. Я благодарила за щедрость, с которой он внес новый смысл в мое существование, и просила помнить, что со всеми его муками он богат и счастлив.

— Можно мне побыть наедине с портретом?

— Вы хотите в первый момент, когда откроете, быть одна?

— Да.

— А можно и мне тут быть?

— Лучше не надо.

— Я хотел бы.

— Ну, хорошо.

Он пока отложил письмо, и мы переставили странно изменившуюся закутанную фигуру на середину веранды, и я с его помощью стала снимать веревки.

— Что-то случилось! — воскликнула я, обнаружив демасию под тряпками, на которых выступил растаявший на прямом солнце пластилин.

О, что открылось нашим глазам! Голова развалилась от жары на части. Кусок затылка висел вверх штыря, все остальное сползло вниз, чудом держась на расплющенной шее. Повидимому, еще час или два, и все было бы на полу.

К нам бросился на помощь брат Бориса Леонидовича, кликнули шофера, прибежала Зинаида Николаевна. Остатки работы отделили от каркаса и уложили на большой станок. Сделав, что нужно, я повернулась к окну, к ним спиной. В наступившем тягостном молчании я боялась разреветься и выбежала из комнаты, бросив на ходу:

— Я сейчас вернусь.

Я быстро шла в лесную часть участка. Вслед мне что-то крикнула З. Н., и за мной пошел Александр Леонидович.

— Я хочу сказать, чтобы вы не огорчались. Мне как архитектору это знакомо. Иногда обрушивается целое здание.

— О, пожалуйте, не успокаивайте меня, я все это вынесу. Посижу здесь, приду в себя и вернусь.

Вслед я ему крикнула:

— Спасибо на добром слове.

Я редела и редела и не только от жалости к погибшей, такой дорогой мне работе, но и из-за отказа Б. Л. позировать. Проходило время, и я никак не могла успокоиться. В моем убежище меня отыскала З. Н.

— Вы потому убежали, что вы тоже суеверная, что вам показалось, что голова Бориса Леонидовича так же развалится на части? В первую минуту мне чуть не стало дурно. Но потом я поняла, что это не предзнаменование, а просто следствие солнца, от него растаял пластилин, и все логично. Не огорчайтесь, лицо и левая сторона целые, они чудные.

— Неужели портрета не будет! — воскликнула я.

— Все будет. Будем живы, все будет, а умирать мы пока не собираемся.

Видя мое горе, она обняла меня и стала целовать, а я прижалась к ней. Меня тронула ее доброта. З. Н. пригласила меня провести у них день и пообедать с ними.

— Вы не должны обижаться на Б. Л., — сказала она, — ему сейчас ни до кого, ни до детей, ни до семьи.

Потом она стала говорить об их жизни, и тут уже я утешала ее.

Медленно и как бы колеблясь, к нам подошел Б. Л. Понимая, как снять напряжение, он заговорил на деловые темы. О том, что оставшееся надо немедленно фотографировать и отформовать, что это хорошая работа, это видно и теперь.

— Подумаешь, остаток античного торса, — попыталась улыбнуться я.

Они стояли передо мной. Б. Л. положил руку на плечо жены, я сидела на земле.

— Ну, надо что-то делать, хватит сидеть, — воскликнула я, вскакивая на ноги.

Возвращаясь, мы обсуждали детали. Я объяснила, что если ли портрет сейчас перевозить, то он совсем развалится.

З. Н. вошла в дом, а меня задержал Б. Л.

— Я хочу, чтобы вы мне верили, что отсутствие времени не отговорка, что я с вами искренен и говорю правду.

— Борис Леонидович, я верю каждому вашему слову, не надо этих предисловий.

— У меня осталось трое-четверо друзей, вы в их числе. Но то, что случилось и продолжает происходить в этом году, превышает по сумме события всей остальной жизни, если их собрать вместе. И это требует напряжения сил... Вы не должны на меня обижаться.

Я ему ответила, что понимаю его положение...

...Вышла З. Н. и сказала, что, может быть, можно поместить портрет в котельную под домом, там холодно. Мы втроем пошли посмотреть помещение.

— Ну и прекрасно, — сказала я.

Но тут З. Н. осенила еще одна идея: перенести злосчастную голову в Лёнину комнату при гараже. Это полутемная каморка, с низким потолком и площадью в 4—5 кв. метров. Там стоит большой стол, заваленный автомобильными частями и инструментами, и кушетка.

Они говорили о том, что и как переставить, а я думала о своем и нечаянно улыбнулась своим грустным мыслям. Б. Л. взглядом спросил, чему это я.

— Горе-скульптор, — ответила я.

С внезапной лаской он коснулся моей щеки.

Я сказала, что хочу посмотреть остаток портрета, и, наконец, осталась одна. Я сидела над ним, и мне снова хотелось плакать. Вырвана была примерно одна пятая поверхности от правого уха (его не существовало) к затылку, шея совсем деформирована и разодрана, но все остальное — непронято. Катастрофа заключалась не в этих повреждениях, а в том, что тяжелая голова размером в натуру с четвертью была сорвана со штыря и восстановить прочные связи между пластилином и каркасом было невозможно.

Я глотала слезы и напряженно размышляла и вдруг внезапно ясно увидела, что надо делать. Нужно вынуть часть пластилина изнутри, вложить в голову в лежащем положении штырь с прочными крестами и залить все это расплавленным пластилином. Вскоре работа закипела. Плотник делал в саду новый каркас, а мы с Александром Леонидовичем, взявшимся мне помогать, топили пластилин на водяной бане и подготавливали голову к операции.

На веранду пришел Б. Л. Я ему сообщила, что смогу восстановить портрет. Он выразил недоверие, я объяснила идею.

— Ну и слава богу, — отвечал он.

— Не очень я верю вашему «слава богу». — весело сказала я. — Вы, кажется, были рады, когда портрет развалился. Мы все сделаем без вас, уходите, пожалуйста.

— Да, я должен сейчас уйти, тут приехали студенты ГИКа, хотя меня снять, я надолго ухожу. Я вас в щеку поцелую.

Справившись, все ли у меня есть для работы, он ушел.

Работы было много, я отказалась от обеда, и А. Л. предложил мне пообедать попозже с Б. Л., который запаздывал.

Я искала новое направление штыря, с тем чтобы устранить по просьбе Б. Л. первоначальный наклон головы, когда в столовой загудел его голос. Он капризно и недовольно тянул слова. Меня позвали, и пришлось оторваться от работы.

— Ты умная девочка, — сказал он шестилетней Мариночке, — и понимаешь, что тут не театр, чтобы расхваливать перед всеми детей, но ты помогла бабушке, и это так же приятно, как хорошая погода, красивый цветок или вкусное кушанье.

Но он был голодный и злой, все это чувствовали, я молчала, они изредка перебрасывались пустяковыми фразами... Он заговорил о необходимости отлить работу, потому что этого требуют и ее состояние, и наши отношения, и мера моего таланта.

— Лимит исчерпан, — сказал он.

— На это мне возразить нечего, — ответила я.

Было очень больно и обидно, я молчала, но почему-то не чувствовала бесповоротности его слов...

...Тут З. Н., видно, встревоженная оборотом разговора и его состоянием, позвала меня на кухню посмотреть пластилин.

В разгаре работы, когда я, то и дело дуя на облепленные расплавленным пластилином пальцы, вливала в отверстие в ролосах жидкую массу, пришел Б. Л. Он интересовался, как идут дела.

— Сделаем все без вас, идите, пожалуйста, отдыхать.

— Да, вы извините, что я вам эгоистически не помогаю. А вы раньше заливали когда-нибудь?

— Нет, впервые, таких катастроф не случилось.

— Как же вы решились? Какая смелая!

Он ушел, работа продолжалась еще часа полтора. Я уже наводила порядок, когда он опять спустился.

— Вот, все получилось.

— Никак не думал. Я прилег отдохнуть и после того, что вы мне сказали, что никогда этого не делали раньше, решил, что все развалится окончательно и никакого портрета больше не будет, и уж никак не ожидал, что он когда-нибудь опять стоять будет. Поздравляю!

Я ему сказала, что через два дня приеду и перенесу голову в Лёнину комнату; если будет жарко, ее нужно поливать. Повреждения исправить нетрудно, и если он не хочет мне помочь в этом, я заберу работу в Москву и сделаю как сумею, но спеха никакого нет, и если только он не решил твердо никогда мне больше не позировать, то я могу подождать сколько угодно.

Он предложил позировать осенью.

— Хотите чаю? — спросил он.

— Хочу.

З. Н. еще спала, и братья накрыли на стол. За чаем, ко-

торый мы пили втроем, Б. Л. сказал брату, что в каких-то курсах я напоминаю мать.

— У Зинаиды Николаевны и брата о вас свое мнение, а я вам скажу — вы фанатичка. Вы страшно упорная.

— А разве без этого можно чего-нибудь добиться?

— Ну, не знаю, чем добиваются. Но вы упрямец, причем какая-то тихая упрямец, — говорил он с доброй улыбкой. — Хотите прилечь? Я вас устрою.

— Нет, спасибо, мне надо ехать.

— Полежите, отдохните, может, поспите. Мы забудем о вашем существовании.

— Нет, я поеду. И так ваше прозное послание привело лишь к тому, что в ваш дом на весь день вторглись.

(На дверях в кухне висит записка по-русски и по-английски: «Я никого не принимаю. Отступлений от этого решения сделано быть не может. Прошу не обижаться и извинить. 22 апр. 1959 г.»).

Он вышел проводить меня на крыльцо:

— Вы сегодня такую лошадь за рубль выиграли!

Я не поняла.

— Ну, как же, я был уверен, что ничего не выйдет, все развалилось, а вы восстановили.

Прощался он с такой сердечностью, что у меня осталось чувство выигранного сражения за свое достоинство и его уважение.

22 мая 1959 г.

На дверях веранды висела записка, написанная рукой Б. Л.: «На террасу ходить осторожно. Не подходить к лежащей вылепленной голове — она чуть держится на подпорках».

— Борис Леонидович хочет поставить портрет в свой кабинет, — сказала З. Н.

— В этой мысли нет ничего хорошего. Я должна сначала исправить повреждения, а там я не смогу. Лучше перенести, как собирались, в комнату при гараже. Там я никому мешать не буду?

— Нет, приходите в любое время, когда хотите. Такой ход, а он без конца поливал голову, — сказала З. Н.

Ко мне подошел А. Л., и мы произвели дополнительное укрепление головы подпорками, а потом она была перенесена в гараж. Я вернулась на веранду за остальным своим имуществом, и за собиранием его меня застал Б. Л. Вошел он с пачкой пакетов и писем, видимо, только что принял их от почтальонши. Это был другой человек. И здоровался, и смотрел в лицо, и улыбался совсем иначе, будто отдавал теплом.

— Что, уже перенесли? И все благополучно? Вам помогли? Смотрите, не таскайте тяжестей. О, хотя вы говорите, что понимаете, в каком я сейчас положении, как мне необходимо сейчас работать...

— Но тем не менее вы считаете нужным еще раз мне об этом напомнить? — улыбаясь, перебила я его.

— Нет, но даже в семье этого как следует не понимают. Вот это — сегодняшние письма. Ну, конечно, можно не отвечать, ну что же...

— Мой план такой... Вы уже испугались при слове «мой план»?

— Нет, нет, так что же?

— Я постараюсь произвести реставрацию без вас, по памяти и фотографиям. Мы договорились с З. Н., что я буду приходить для этого когда смогу. Вы мне на глаза не полагайтесь. А. Л. настоятельно советовал мне произвести отливку в убеждении, что я испорчу. От этого всеобщего доверия я просто расцветаю. Но портрет мне не нравится, и самое в этом лучшее то, что я знаю — почему. Если вы сможете осенью попозировать для этого, очень хорошо, нет — отложим, сколько понадобится.

— Я вам попозирую, только не по два часа, просто буду вам показываться.

— Я даже этим обещанием не хочу вас связывать, можете потом отказаться.

— Это очень правильно — сделать отливку. Я давно не видел портрета, и он оказался лучше, чем сохранился у меня в памяти.

— Значит, я напрасно принимала за чистую монету то, что вы мне говорили осенью.

— Я отлично помню, что портрет мне очень нравился, и я его хвалил, но память несовершенна, и он оказался еще лучше. Я думаю, что современная скульптура не может передать сходство лучше. У каждой эпохи есть свое понимание сходства.

— Но это зависит и от индивидуальности художника.

— Да, но главным образом от времени, в которое он живет. Портрет куда-то уведен, но в правильном направлении, это я. Поэтому я и считаю, что нужно отлить, чтобы зафиксировать что есть.

— Но отливка не должна означать, что работа готова, хорошо?

— Хорошо. Если ничего не случится, осенью я вам попозирую.

...Я отказалась от приглашения обедать и, прощаясь, попросила у него записку с двери.

10 июня 1959 г.

В доме и в саду стояла звонкая заметная тишина: семейство укатило в Москву. Работалось хорошо. Приходится после посадки в новом положении совершенно по-новому решать шею.

Часа через два в комнату зашел Б. Л.

— Зоя Афанасьевна? Здравствуйте! Вы первый раз здесь?

— Второй.

— Вот как? Когда вы были? Когда жара началась?

— В пятницу.





- Мне об этом не говорили.
- И правильно делали.
- Ах, так? Вы просили, чтобы мне не говорили?
- Нет, не просила. Но хорошо, что не сказали, а то

опять станете объяснять мне, что у вас нет времени. Я в об-  
морок могу упасть.

- Он улыбнулся и стал расспрашивать, как идет работа.
- Меня стали делать. Но фантазируют бог знает как. Я вам не показывал, из Швеции прислали фотографию.
- Ничего вы мне не показывали.
- Я покажу. Одна скульпторша меня делала и в Париже тоже. Ни в какое сравнение с вашим портретом.
- Мне очень хочется посмотреть.
- Я вам покажу. Чтобы вы возликовали. Но это делали люди, никогда меня не видевшие, бог знает по каким материалам; и они страшно фантазировали. А сейчас я пойду быстренько пройдуся. Я поздно сегодня вышел.

**24 июня 1959 г.**

Я кончила работу и уже уходила, но у калитки столкнулась с Б. Л.

- Я не знал, что вы сегодня работаете, жаль.
- А на что вам знать? Да, вы видели вчерашнюю «Литературную газету»? — спросила я.
- Нет, а что там?
- Статья об Ахматовой по поводу ее сборника. Сдержанная, но вполне положительная.
- Что вы говорите! Большая статья?
- Довольно большая. И исподволь ей дается высокая оценка.
- Вот как! Сегодня ее день рождения. Я только что звонил, просил, чтоб от меня ее поздравили. А кто написал статью?
- Озеров.
- Л. Озеров?
- Да, Лев. Борис Леонидович, правда, что должен выйти ваш сборник?
- Какие-то переговоры велись...
- Я это слышала из нескольких источников.

**16 июля 1959 г.**

Требовалась коренная перестройка нижней челюсти, и Б. Л. был нужен позарез. Я уж даже решила передать через З. Н. просьбу показаться мне в следующий мой приезд, но, по счастью, записку писать не пришлось.

- В третьем часу я услышала шаги. Б. Л. издали внимательно, с разных позиций разглядывал портрет.
- Бедная! Ну что вы так много работаете, мучаете себя! Ведь хорошо!
- Борис Леонидович, мне неприятно это слышать. Разве я кому-нибудь мешаю?

— Нет, нет, вы не поняли! Но я хочу сказать, что вот делали же меня за границей люди, в глаза меня не выдавшие, и не мучали себя. А вы все загромождали себе этой работой.

— Вовсе нет. Я хочу, чтобы портрет меня удовлетворил. Сейчас хуже или лучше, чем было осенью?

— Лучше.

— Что и требовалось доказать. А работаю я тут редко, дома уже кончаю совсем другую работу. Скоро кончу, поеду в путешествие.

— А куда?

— На пароходе, за Пермь.

— О, это будет хорошая поездка.

— Вы ведь там были? «Был утренник, сводило челюсти...».

— Да, это было под Пермью, ниже ее.

Он спрашивает о поездке и немного рассказывает о Каме.

— Борис Леонидович, вы мне не можете постоять десять минут?

— Сейчас? Ну, хорошо, я собрался гулять, но я вам стою. Где стоять?

— Засеките время. Вот часы.

Но он машет рукой.

— Я вам попозвирую.

— Я помню все свои благородные обещания работать одной, но, ей-богу, я не знала, что залезу в такие глубокие изменения. Работаю я осторожно, на ощупь, и мне трудно.

— Вы когда в следующий раз приедете?

— В четверг.

— Через неделю? Я запомню. Я вам попозвирую.

— О, спасибо! Я добросовестно стараюсь сделать одна как можно больше, чтобы осенью вам пришлось поменьше сидеть. Если вы вообще не раздумаете.

— Знаете, я собирался вас надуть. Но вы меня опять обезоружили.

— Ну, бог с ним, с портретом, если вы осенью собираетесь писать. Вы уже пишете?

— Да, начал пьесу. Но не удастся целиком ей отдаться. Надо зарабатывать, а кое-что подвернулось. И потом мне попрежнему много пишут, в том числе знакомые люди, присылают книги или стихи. Надо отвечать, чтоб хотя бы поблагодарить, если не делать этого неделю, то накапливается гора. Переводку я Кальдерона. Нет, испанского я не знаю, но есть хорошие немецкий и французский переводы. Кальдерон современник Шекспира и Лопе де Вега. Но, боже, как далек от них. У него невозможно напасть на живое, сырое, пережитое, как у Шекспира. Все написано по правилам, чрезвычайно искусно, но все заранее определено, как в разученной шахматной партии. Может быть, это и гениальная шахматная партия, но каждый ход заранее известен.

— Как это чуждо вам! Расскажите о пьесе. Или вы не можете говорить о том, что пишете?

Почему-то эти простые слова вызвали у него взрыв благодарности.

— Вы чудная! Не то, чтоб между нами роман, но я вас люблю. Очень люблю. Как бы мне хотелось быть вам полезным, принести вам настоящую пользу...

С крыльца З. Н. кричит ему, что он должен погулять.

— Я знаю, — отвечает он, — но я попозирую немного Зое Афанасьевне.

— Я хотела с вами посоветоваться. Вы знаете о художнике Коле Дмитриеве? Он погиб в 15 лет.

— О да, я был на его выставке.

— Колин отец хочет, чтобы я его лепила.

— Что вы говорите! А как вы с ним познакомились?

Я рассказываю.

— О, это было бы замечательно!.. Это просто необходимо вам сделать. Вам говорили, что между родителями Коли и мной протягивались какие-то ниточки?

— Федор Николаевич говорил, что у него есть ваше письмо о Коле. Прежде чем его читать, я хотела спросить у вас разрешение.

— Ну, что вы, читайте, пожалуйста. Меня, кажется, представили его матери. А у него хорошее лицо, да? У меня осталось в памяти такой пастушок, Лель.

— Борис Леонидович, а что вам нравится в его работах?

— Наличие, проявление бесспорной талантливости.

Он определяет это в каких-то и очень общих и непривычных выражениях.

— Я вас не поняла.

— Ну, что мне в нем нравится? Моментальность схватывания, острота глаза...

— Нет, нет, не переводите для меня на популярный язык. Вернитесь к этой мысли о том, в чем сущность таланта. Это ведь очень неустойчивое свойство, и я толком не знаю, в чем оно.

— Да, да. Ну, это беспокойство, жадность, страстность, потребность остановить, удержать состояние, это и глазомер, и чувство красок — и попадание!

Тут на крыльце появляется с недавних пор живущая в доме немолодая грузинка.

— Ну, что они беспокоятся! — тихо говорит он. — Ни-ночка, идите в дом, зачем вы мокнете под дождем... Да, да, я знаю, я еще немножко попозирую и приду.

— Идите, Борис Леонидович, я сама поработаю.

— Нет, я вам еще постою...

— В «Литературе и жизни» были недавно новые стихи Андрея Вознесенского. Вы их видели?

— Нет. Хорошие?

— Они очень зрелые, в них уже почти не осталось былого мальчишества. Это не опасно?

— Нет, он на верной дороге и много сделает, да и уже сделал. Вы с ним не знакомы?

— Нет.

— Поищите случая познакомиться, вам приятно будет.

Мы помолчали, потом я задала наводящий вопрос:

— А сколько актов будет в пьесе?

— Я еще не знаю. Она растет, развивается, усложняется, как живой организм. Только в минерале все просто, а органическое тело, даже самое примитивное, это уже сложно. Нет, я не хочу ничего нагромождать и усложнять, но существует какая-то естественная, органическая сложность. А пьесу я пишу для себя, как роман.

— Ничего себе... для себя. А действие, как вы мне рассказывали, относится к концу крепостного права?

— Да, это ведь понятно, почему меня привлекло это время...

— Хорошо, что свет не без добрых людей, и я кое-что о вас узнаю. Что за замысел грузинского романа?

Его интересует, где я это слышала.

— Да... Это было вот что. Пруссия, третий век, проникновение христианства. Завязываются в сложный клубок судьбы людей, и потом все это обрывается внезапной катастрофой, ну, скажем, землетрясением. А потом наше время. Археологи ведут раскопки и вдруг натываются на эти следы, и оказывается, жизнь их, их личные судьбы как-то переплетены с тем, что было, возникают связи с прошлым.

— Это очень интересно и необычно. Это ваша естественная реакция на призыв писать о современности? — подтруниваю я.

— Не знаю, не знаю... Вот говорят, что я не современен, что не современно мое стремление к простоте и ясности. На Западе пишут сейчас нерифмованные стихи со свободным ритмом, очень короткие. Ну, например, — солнечный воск судьбы, в нем отпечатки человеческих рук и кольца цепи человеческой судьбы, сквозь них продеты пальцы. Это образно, и понятно, и не лишено смысла, но разве это современно? Я со многим не соглашаюсь в современной жизни, спорю с ней...

— Но и тогда это разговор о современности, — подхватываю я.

— Ну да, ну да...

Но тут его в третий раз зовут с крыльца обедать.

— Идите! — говорю я.

— Да, надо идти.

Он приглашает меня, я отказываюсь.

— Так я запомню — в четверг.

Идя мыть руки, опять с ним сталкиваюсь и отдаю забытую им серую ширпотребовскую кепку. Как он ухитряется, чтобы такая посуда выглядела на нем и элегантно, и индивидуально?

23 июля 1959 г.

Вступив на крыльцо, я услышала голос Б. Л., звавший меня. Я оглянулась, но не нашла его.

— Я тут, в окне.

Он стоял на верхней веранде и во все лицо улыбался.

— Я не забыл. Я к вам приду часа через два, поработаю и приду, хорошо?

Пришел он в замечательном расположении духа, до самого конца сеанса был заразительно радостен, вдруг начинал улыбаться, усилием стягивал губы в серьезное выражение, но улыбка ему не подчинялась и снова заливала лицо. Обаяние, когда он в таком настроении, огромно, и передать его никак нельзя.

Он тут же принялся рассказывать о том, что пишет, но спохватился:

— Я вам не мешаю тем, что разговариваю?

Получив старый ответ, что он мне мешает, когда молчит, опять вернулся к пьесе.

Говорил он на редкость трудно для восприятия, потому что каждый раз подходил к теме не с той стороны, откуда ожидалось, и расплывчатая туманность мыслей пронзалась неуместными, на первый взгляд, не связанными с ними конкретностями. Когда он так говорит, я не запоминаю слов, приходится общее впечатление от его высказываний переводить на свой язык.

Он говорил о наполнении характеров в конкретном времени, о той степени их достоверности, которая нужна для того, чтоб было правдоподобно и убедительно при всей невероятности событий, и вместе с тем не мешала его свободе. Он не преследует цели показать полно эволюцию характеров, а как бы ставит вехи. Один из героев — крепостной, несправедливо в чем-то обвиненный. Его чуть не засекли насмерть, сослали в Сибирь, но потом выясняется его невиновность, его оправдывают, дают вольную, денег, он становится купцом, переезжает в Петербург, открывает магазин...

— А где же актер? — спрашиваю я.

— И тут же рядом актер, и домашний учитель — потом он становится народовольцем, тут и любовь, судьбы их переплетаются в одно органическое целое, потом проходит двадцать лет, покушение на Александра III, и все снова сплетается и перепутывается.

— А я по тому, что вы раньше рассказывали, думала, что это будет пьеса о взаимоотношении свободы и художника.

— Да, и это туда входит, но она вбирает много разного, все срастается в живой организм.

— Но то, что вы мне рассказали, можно рассказать и о романе. Что тут специфически драматургического?

— Да, да, вы правы, я вас понимаю, но это будет хроника, ну вот в том смысле, как Шекспир хроника писал.

— А почему вас на этот раз привлекла форма драмы?

Он опять мальчишески улыбается.

— Диалог — очень трудная форма. И пьес я никогда не писал, интересно, как получится. Пишу я без какой-либо цели, ни для кого, ни для чего не предназначая. Но жаль, что нельзя с головой окунуться в пьесу: и переписка, и Кальдерон этот.

— Но может быть, это и хорошо, если все еще бродит?

— Нет, накопилось много материала, надо бы взяться вплотную. ...Пьеса — это работа, а все остальное — пустяки. Но приходятся все же на них отвлекаться. Только что читал английскую статью некоего Ричи. Он и раньше мной зани-

мался, переводил «Детство Люверс». То, что он говорит в этой статье обо мне, — правильно. Ричи пытается разбирать и мое прошлое творчество, он знает кое-какие факты моей биографии, делает умные и верные сопоставления, приводит мои старые стихи, но как все это мелко! Это так заслоняет главное!

Какими-то ассоциациями у меня возникает мысль, внешне не связанная с тем, что он говорил.

— А на днях у меня было любопытное скрещение с вашей мыслью.

— С чем-нибудь из того, о чем мы с вами говорили?

— Нет, с мыслью из ваших стихов. В воскресенье я слушала второй концерт Рахманинова.

— Погодите минуту, а как у вас с Дмитриевым?

— Я сказала Федору Николаевичу, что буду лепить Колю, он очень обрадовался.

— А вы ему сказали, что я настаивал и заставляю вас лепить Колю?

— А вы разве настаивали?

— Ну, конечно, я убеждал, что это необходимо. Ну итак, воскресенье, второй концерт Рахманинова?

— Да. В воскресенье ко мне пришел посмотреть новую работу Дмитриев и остался. Мы с ним слушали музыку. Он очень любит Рахманинова, особенно второй концерт. Я эту вещь довольно хорошо знаю. Но бывало ли с вами, что присутствие человека, очень любящего какое-то произведение искусства, обостряет его восприятие?

— Бывало, конечно.

— Так вот это произошло, когда мы слушали 3-ю часть. Мне вдруг показалось, что Рахманинов рассказывает о себе, о своем отношении к жизни и делает это с ясной, определенной целью — чтобы я его полюбила. Не произведение, нет, а его самого, его внутренний мир. Иллюзия была так велика, что мне казалось, может быть, он при жизни не испытал такой полноты общения. И вот в музыку вплелись строки:

**И надо жить без самозванства,  
Так жить, чтобы в конце концов  
Привлечь к себе любовь пространства,  
Услышать будущего зов.**

И тогда я поняла, что то, что показалось открытием, то есть, что творить надо, чтобы любили самого художника, вы знаете. Нет, я не умею рассказывать, говорю какие-то общие слова, а главного передать не могу.

— Какие там общие слова! Это очень верная и глубокая мысль, и она ваша, у меня там другое. Да, да, вот это и есть искусство, где есть чудотворство. Существует какое-то академическое восприятие произведений искусства, ну вот, Шекспира, например. Все знают, все убеждены, что это гениально, но убеждены не пониманием его, а исследованиями, рассуждениями о Шекспире. Никто ведь не скажет: зачем вы его переводите, он бездарен.

Видя, что я что-то хочу сказать, он добавляет:

— Да, это не связано с тем, что вы говорили. Должно быть какое-то волевое усилие, чтобы заставить себя любить. Ну, это то же, зачем весной бывают цветы, у птиц — красивое оперение.

— Но в этом есть целесообразность, назначение, а ведь то после смерти художника рождается.

— Это одно и то же.

— Вы сегодня в хорошем настроении.

— Да? Да!

— Это ответ?

— Дело в том, что сегодня я встал в половине пятого.

Наши уезжали на машине в длинное путешествие — Ригу, Таллин, вообще Прибалтику, ну и я с ними встал. Повез Лёня, поехали Зинаида Николаевна, Нина Александровна Табидзе.

— А, это Табидзе подходила ко мне критиковать портрет!

— Она критиковала? Что вы говорите!

— А она имеет отношение к поэту Табидзе?

— Да, она его жена. В восьмом часу я пошел гулять и думал, что пропадет день; лечь спать — не засну все равно, а для работы был сонный, но потом разошелся и недурно поработал. А потом увидел в окно, как вы идете...

— И огорчились: хорошо работается, а придется оторваться.

— Нет, не огорчился. Я с утра помнил, что вы должны прийти, и не хотелось оказаться жуликом, нет, я бы стал позировать, но думал, что буду вялый, сонный, а я рад, что перед вами живой.

Он смотрит портрет и хвалит.

— Вашим комплиментом по поводу головы я не придаю значения.

Он скидывает брови.

— Они вызваны желанием, чтобы я поскорее окончила.

— А, а то я испугался. А я хотел вам сказать комплимент по поводу другой головы, вот этой. — кивает он в мою сторону и принимается говорить всякие приятные глупости. Я меняю тему и рассказываю, как меня совсем неожиданно стал спрашивать о нем 18-летний мальчик, приехавший из Воркуты. Б. Л. перебивает меня восклицаниями вроде: «да нет, не может быть!» — он явно заинтересован и обрадован, с жадностью спрашивает.

— Это так приятно! И вам приятно было это слышать?

Проходит время, я говорю:

— Терпеть не могу напоминать о таких вещах, но вы мне хотели показать фотографии с ваших портретов, сделанных в Швеции и Франции.

— К этому прибавился еще портрет, делал один американский скульптор. Ну, он только по фотографиям, никогда меня не видел... Непохож, конечно. Все-таки я ему написал, что сходства трудно достичь, не видя живого человека, однако на

одной из фотографий есть ракурс, на который я бываю похож, только очень редко. Но это от меня уже уплыло.

— Ну вот. Неужели вы не понимаете простое человеческое любопытство?

— Я попрошу для вас. А как вы отнесетесь, если вашу работу снимут?

— То есть как?

— Ну, сфотографируют, если подвернется случай.

— Сейчас еще рановато.

— Но можно?

— Конечно, если вам хочется.

— А если это будет опубликовано? И с вашей фамилией?

— Это лишнее.

— Вы у меня до того были, как Ливанов тут наскандалил? Я вам не рассказывал?

— Нет.

И он подробно рассказывает, как нетрезвый Ливанов обидел у него в доме жену Погодина.

— Когда Ливанов уходил, я с ним не простился, — закончил он рассказ.

В ответ я поделилась впечатлением о Ливанове, возникшем у меня на основе его карикатур, и спросила заодно, не рисовал ли он Бориса Леонидовича.

— Рисовал, но неудачно. А вот Нейгауза-отца сделал замечательно, я просил у него этот рисунок.

Да, вот что пропустила: когда речь шла о портрете Коли, я сказала, что без помощи и советов Федора Николаевича мне не обойтись, и это еще одна трудность. Эстетические взгляды у нас с ним разные, он символист, мистик, а одно представление о том, кто будет воспринимать мою работу, уже заставляет меня что-то менять в ней.

— Это признак слабости, и я этого очень боюсь.

— У меня сколько раз так было. Когда я заканчивал «Поверх барьеров», девушка, в которую я был влюблен, попросила меня подарить ей эту книгу. Я чувствовал, что это нельзя — я увлекался в то время кубизмом, а она была сырая, неиспорченная, — и я тогда поверх этой книги стал писать для нее другую — так родилась «Сестра моя жизнь», она так и не узнала об этой подмене.

— Правда? Неужели это не страшно? А я к этому как-то трагически отношусь.

— Нет, нет, вам кажется, что вы в чем-то отступаете от себя, а это и есть ваше развитие.

30 июля 1959 г.

Этот сеанс оставил сильное чувство досады на себя. Всю неделю уставала до невменяемости. Стоит жара, дома уйма работы, и мучает бессонница. В этом состоянии до прихода Б. Л. проработала три часа, и мне очень хотелось лечь хоть на землю и отдохнуть. Все мне не нравилось, и я, понимая, что делаю глупости, лезла в серьезные переделки.



Во втором часу из дому вышел Б. Л. Он шел к калитке, а я смотрела ему в спину и удивлялась его стройности, выразительности чуть косноязычной, заплетающейся, как речь, походки.

Наконец он вернулся и стал позировать.

— На днях я получила хороший подарок, — сообщила я ему, — «Охранную грамоту».

— Что вы говорите! От кого же?

— От одной моей знакомой, я вам про нее не говорила. Она большая ваша поклонница, и этот подарок — жертва с ее стороны и знак особого расположения.

— Да, но там много манерного. Тогда не я один, все этим увлекались. Когда теперь мне приходится перечитывать свои старые вещи в переводе, меня поражает, как там все случайно и не отобрано главное от пустяков. Правда, иногда бывают точные попадания. Вот мне прислали перевод на немецкий, там есть несколько старых вещей из «Сестры моей жизни» и «Поверх барьеров», вы их, наверное, не знаете, я их потом выбрасывал, когда составлялись сборники. Перевод очень хороший. Там есть строчка: «Орешник меня отрешает от дня», и переводчица уловила и смысл, и почему тут аллитерация — грубое шуршание листа. Но в общем поражаешься бессодержательности, бессмысленности того, что писал тогда, а главное — греху многословия. Даже «Марбург» этим многословием страдает.

— То, что вы теперь пишете иначе, не означает, что вам нужно презирать себя прежнего.

Слово «презирать» ему понравилось, он улыбнулся и со вкусом повторил:

— Нет, надо презирать.

— Вы, наверно, забыли, что в «Охранной грамоте» сами писали, что берете для характеристики времени случайные признаки, что его можно было бы характеризовать совсем другими признаками, но результат получится один. Так что неотбранность примет была сознательным приемом. И потом все это сделано под напором страсти и покоряющей серьезности.

— Но там есть модернистские выверты. Они, правда, были и у Леонардо да Винчи, и у Толстого, и у всех, но они их выбрасывали и становились классиками.

— Классиками становятся не поэтому, а тогда, когда непривычное делается привычным.

— Нет, надо без пощады выбрасывать отходы. Надо так работать, чтобы получалось чудо, чтобы вообще не верилось, что это результат работы человека, а казалось чем-то нерукотворным. — (Интересно, помнил ли он, что повторил мои слова, сказанные по прочтении «В перерыве»). — Вот мне пишут... Пишут молодые люди, ну, скажем, девушка, прочитавшая меня, что после этого она как в тумане, а все вокруг кажется иным, чем было. Значит, сказано что-то существенное. Но сколько это стоило труда и мук! Все дело в количестве работы, в том, что считать законченным. То, что раньше для меня было концом работы, теперь ее начало... И надо добиваться

достоверности, чтобы жили герои, их время, а автор уходил, отходил в сторону, чтобы его не было.

— Такая маскировка нужна. Но только затем, чтобы полнее раскрылся автор. После первых непосредственных впечатлений о судьбах героев наступают размышления о настоящем герое, об авторе.

— Да, это правильно. Это связано с тем, что вы говорили прошлый раз.

Я не ответила, поглощенная работой.

— Какие дни стоят! Это редко бывает на севере, чтобы так долго стояла ровная жаркая погода.

— Да, здесь чудесно, а в городе тяжело. Я устала, плохо сплю, и жара угнетает.

— Бедная! Это вы от жары не спите?

— Нет, от усталости. Я давно не отдыхала.

— Но вы скоро поедете в путешествие. Вы уже взяли билет?

И он начинает заботливо вникать в подробности моей поездки, советует не брать этюдник и быть сдержанной в отношении впечатлений.

— И ничего читать не берите. Если это будет неинтересная книга, то это просто скучно и утомительно, а интересная захватывает и изнуряет. Постарайтесь поглупеть на это время. Нет, вы это хорошо придумали, это будет прекрасный отдых для вас. Правда, после такой долгой жары должно наступить похолодание, как бы оно не пришлось на вашу поездку, но, может быть, за это время успеет похолодать и опять потеплеть.

Он рассматривает профиль и говорит:

— Помните, когда случилась эта катастрофа, говорили о том, чтобы сделать барельеф.

— Из круглой скульптуры это невозможно.

— Надо обязательно начинать с уплощения? И барельеф, и горельеф?

— Да.

— Вы, кажется, хотели отлить в бронзе?

— Да, это было бы хорошо.

— Более прочно?

— Это вечная вещь. Но об этом рано говорить, надо, чтобы сначала получилось, что я хочу, пока не получается.

— Ну, что вы! Мне очень нравится, как вы работаете, и метод ваш, и отношение к работе, это все мне очень близко, да я вам это документально подтвердил. Я знаю, что мне под этим придется подписаться, и это меня не огорчает, особенно этот профиль.

От этих слов мне хочется реветь, слишком велика разница между ними и тем, что он говорил раньше, а главное — вижу, что я сбилась, напутала. Чтобы сменить пластинку, спрашиваю:

— Как движется пьеса?

— Последний раз я хорошо над ней поработал в воскресенье, а сейчас пришлось отложить. Есть срочные неотложные письма и кое-какие дела, в субботу даже придется съездить в город... Знаю, что обо мне пишут... Писали крупные авторы,

Пристли писал. Я ему ответил, что нельзя все время дотить одну корову, вы ей вымя оторвете. Я ему отказал...

— Вот это меня интересует, Борис Леонидович, может ли автор в суждении о своей работе встретить что-то новое и правильное?..

...Он уходит куда-то в сторону и прямо не отвечает.

Чтобы заставить его говорить, а самой иметь возможность молча работать, предлагаю тему:

— А как вы тогда в Тбилиси съездили? Вы мне не рассказывали.

— А-а. Мы туда полетели с Зинаидой Николаевной на ТУ. Я зря упрявился, когда раздавали карамельки. Говорят, в момент взлета надо делать жевательные движения, видимо, для этого карамельки и предлагают.

— И вас укачало?

— Нет, нет, не было ни рвоты, ни тошноты. Но было неприятное ощущение — давление сказывается на барабанных перепонках, было просто очень больно, и на сердце отозвалось. Но это только в момент взлета и посадки. Удивительно, что Зинаида Николаевна, которая подвержена головокружениям и всякому такому, хорошо все перенесла.

Она дала телеграмму, чтобы никто не встречал. Когда я вернулся, мне рассказали, что студенты несли меня на руках до дома, и т. п. Ничего такого, конечно, не было.

Остановились мы у Нины Александровны Табидзе. Она не раз у нас гащевала и знает мой распорядок досконально, так что мне там был создан такой же режим, те же часы трапезования и прочее. Все это время дочь Нины Александровны не отпускала меня от себя. Она говорила, что для нее это такое счастье — общаться, разговаривать, гулять со мной. Но дело было не только в этом...

Я вам говорил, что беру туда Марселя Пруста, я его там дочитал.

Принимали меня хорошо... Вы о художнике Гудиашвили слышали? В Москве была его выставка.

— Да, я знаю, но я на ней не была.

— Как все крупные грузинские художники, он учился в Париже. У него натюрморты, очень много обнаженной натуры. Он еще и историк-археолог.

— Это и навело вас на мысль о грузинском романе?

— Да. У музеев, выходящих на проспект Руставели, есть зады, там среди сваленных фронтонов и порталов, в густых садах стоят каменные дома. В одном из них живет Гудиашвили. Он пользуется известностью; когда в Тбилиси приезжают иностранные делегации, то многие посещают его. У него интересная квартира: ему разрешили расширяться, и он делал это так: пробивал стену соседнего дома и распространял свою квартиру. Она наполнена его коллекциями, он их собирал всю жизнь по всем странам, и такое впечатление, что этой квартире нет конца, и даже когда выходишь на улицу, то кажется — вот опять тот сад, в котором был.

Гудиашвили уговорил меня читать у него, я читал «Когда разгуляется». И среди всех этих картин, ковров и древностей мне казалось, что я сам читаю как бы из картины. Стихи там — ли успех. Мы пробыли там две с половиной недели...

Отвечая, я упомянула вместе его и Эренбурга.

— Я не понимаю, почему нас иногда связывают. Сейчас я вам скажу вещь, которая вас поразит. Я в связи с пьесой читал кое-какие материалы по сороковым-пятидесятым годам прошлого века, о времени, предшествующем освобождению. Просмотрел Герцена. Я понимаю и ценю огромную роль «Колокола», «Былое и думы» — бессмертная вещь. И я подумал, что Герцен, посыпанный кайенским перцем, и есть Эренбург. Это не то чтобы публицистика, а россыпь знаний, сведений, мыслей, и часто богатых мыслей, но как все это отступает, становится ненужным, когда речь идет о создании достоверного и подлинного...

Но давно пора кончать. Он рассматривает портрет, и, видимо, сегодняшние результаты повергают его в сомнение. Он спрашивает, можно ли пригласить невестку, жену старшего сына, посмотреть портрет. Он приводит очень юную миловидную женщину и знакомит нас. Они говорят раздражающие меня слова: хорошо, лучше. — а я вдруг смотрю на работу чужими глазами, и мне становится стыдно. Тогда я говорю:

— Вы мне помогли. Я сейчас взглянула на портрет со стороны и увидела, что это плохо, хуже, чем было осенью. И знаете что, идите обедать.

— На сегодня хватит? И вам хватит.

— Нет, я останусь поработать, я, кажется, сообразила, в чем дело.

И хотя я падаю с ног от усталости, я работаю еще около часу и вношу новые изменения.

*Продолжение следует*

### «КАЗАКИ»

ЭТА кавказская повесть Льва Толстого, чье 150-летие со дня рождения так широко отмечалось осенью минувшего года как во всей нашей стране, так и в Грузии и с которым связано много новых изданий его бессмертных произведений, вышла в детском и юношеском издательстве республики «Накадули» на грузинском языке в переводе Нодара Эбралдзе (1978).

### «НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»

КАК сказано в предпоследней книге Александра Иоселиани краткой аннотации, на примере двух республиканских молодежных газет — «Ахалгазда комунисти», выходящей на грузинском языке, и «Молодежи Грузии», издающейся на русском языке, рассматривается ряд актуальных проблем, связанных с выявлением функциональной специфики, предметно-содержательных и качественных особенностей молодежной публицистики, как одного из факторов комплексного формирования личности нового человека, а также некоторые социально-психологические аспекты повышения роли и дей-

ственности комсомольских органов печати в решении насущных задач коммунистического воспитания.

В связи с предметом своего исследования автор приводит во «Введении» следующие слова Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета Союза ССР Л. И. Брежнева из его выступления на торжественном заседании, посвященном 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции: «...Для всех сфер жизни и развития нашего общества все большую роль будет играть уровень сознательности, культуры, гражданской ответственности советских людей. Воспитывать в человеке ответственность к высоким общественным целям, идейную убежденность, подлинно творческое отношение к труду — это одна из самых первостепенных задач. Здесь проходит очень важный фронт борьбы за коммунизм, и от наших побед на этом фронте будет все больше зависеть и ход экономического строительства, и социально-политическое развитие страны».

Книжка вышла на русском языке в издательстве «Сабчота Сакартвело» (1978).

### «ОТ МАШРИКА ДО МАГРИБА»

«ГЛАВНЫЙ герой книги, — говорится в предисловии «От автора», — грузинский народ,

снискавший бессмертие своей героической борьбой с многими иноземными захватчиками».

А Машрик и Магриб, как он понимает там же, это арабские названия Востока и Запада, издавна встречающиеся и в грузинском языке.

В книге под этим названием собраны небольшие научно-популярные очерки-миниатюры Тамаза Натрошвили. В жанре историко-художественной литературы он повествует о различных эпизодах из истории Грузии, о событиях, происходивших в странах Передней Азии и Средиземноморья, в которых принимали участие грузины, по какой-либо причине оказавшиеся там.

28 очерков, как бусы напущенные на основной идейный стержень, воспринимаются как главы одной книги. «Я — мурид...», «Прибыл тайно в Грузию», «Беженцы из Византии» и другие подобные названия этих документальных миниатюр дают представление о предмете, которому отдал свой труд и вдохновение автор сборника «От Машрика до Магриба», вышедшего в авторизованном переводе с грузинского Э. Джапнашвили в московском издательстве «Наука» (Главная редакция восточной литературы, 1978).

### **«ГОРОД ПТИЦ»**

И понял я, что жизнь —  
Лишь долгое прощание  
с землей,  
И боле — ничего....

Эти строки взяты из стихотворения, завершающего поэти-

ческий сборник Эмзара Кви-  
ташвили, выпущенный на  
русском языке издательством  
«Мерани» (1978).

Здесь собрано около шестидесяти по преимуществу лирических стихотворений поэта, в которых выражен его пристальный интерес к внутреннему, духовному миру нашего молодого современника, к нравственным исканиям юного поколения.

Все стихи сборника «Город птиц» даны в переводе с грузинского Д. Чкония.

### **«НА ЗАРЕ ГРУЗИНСКОГО КИНО»**

УЖЕ по самому названию можно судить о содержании этой книги Натии Амирэджиби, прослеживающей с помощью фактического материала зарождение и становление современного грузинского кино.

Читатель найдет здесь и анализ художественных фильмов, начиная с 1912 года и кончая тридцатыми годами, и рассказ о творческих поисках грузинских режиссеров и актеров того времени.

Автор раскрывает также, в чем суть эстетического созерцания фильмов, ставших эталоном грузинского кино. Это — «Элисо», «Соль Сванетии», «Наездник из Уайльд-Веста», «Мачеха Саманишвили», «Моя бабушка», «26 комиссаров» и другие.

Обо всем этом можно узнать из книги, которую подготовило на русском языке издательство «Хеловнеба» (1978).

## В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИТИКОВ

НЕДАВНО в Союзе писателей состоялось расширенное заседание секретариата правления и секции критики.

Заседание вступительным словом открыл секретарь правления СП республики Г. Цицишвили.

Председатель секции критик Г. Гвердцители рассказал о работе, проделанной секцией критики за отчетный период, ознакомил с творческими планами на текущий год.

Перед собравшимися выступили заведующий отделом критики журнала «Цискари» поэт Т. Чантурия, главный редактор альманаха «Критика» Г. Мерквиладзе, заведующая отделом критики журнала «Литературная Грузия» Л. Добродеева, председатель Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии О. Нодия, заместитель главного редактора издательства «Мерани» М. Циклаури, а также заведующий сектором культуры при ЦК Компартии Грузии Р. Мимино-

швили, секретари правления СП республики Н. Думбадзе и Дж. Чарквиани.

Итоги заседания подвел председатель правления Союза писателей Г. Абашидзе. В своей речи он особо подчеркнул важность работы секции критики, отметил, что в последнее время секция добилась определенных успехов, но перед ней стоит еще много нерешенных проблем, одна из которых — выявление способной и талантливой молодежи, более принципиальный и деловой подход к темам, которые печатаются в республиканской периодической печати.

## ПОДВОДЯ ИТОГИ

В ГЛАВНОЙ редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии состоялось заседание консультационного совета.

С докладом на тему «Итоги проделанной работы и задачи Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям за 1978 год» выступил председатель коллегии О. Нодия.

Заместитель председателя В. Кахниашвили ознакомил собравшихся с творческими планами коллегии на 1979 год.

О тематических планах издательства Главной редакционной коллегии на текущий год рассказала заведующая координационной редакцией Л. Мchedlishvili.

## **ЮБИЛЕЮ В. ГАПРИНДАШВИЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ**

Общественность столицы Грузии торжественно отметила 90-летие со дня рождения выдающегося грузинского поэта и общественного деятеля Валериана Гаприндашвили.

В Союзе писателей Грузии состоялся юбилейный вечер, посвященный этой дате.

В своей речи председатель правления Союза писателей Грузии Г. Абашидзе отметил большую роль, которую сыграл В. Гаприндашвили в становлении и развитии новейшей грузинской литературы, его великодушные стихи, обширные литературные исследования. Все творчество поэта — яркий пример беззаветного служения родному народу.

На юбилейном вечере также выступили главный редактор журнала «Литературная Грузия» Г. Асатиани, писатель С. Клднашвили, профессор С.

Чилая, поэты И. Нодешвили, Р. Маргиани, Т. Чапурия и другие.

На вечере прозвучали стихи В. Гаприндашвили, которые читали грузинские поэты, актеры тбилисских театров.

В скором будущем издательства республики подготовят к печати сборники избранных произведений Валериана Гаприндашвили на грузинском и русском языках.

## **ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА**

В Тбилисском Доме кино состоялся вечер, посвященный жизни и творчеству замечательного русского писателя, режиссера и актера В. Шукшина, которому в этом году исполнилось бы 50 лет.

Большой интерес вызвал документальный фильм «Слово матери», снятый близким другом и оператором почти всех фильмов В. Шукшина А. Заболоцким. Главное действующее лицо фильма — мать писателя, Мария Сергеевна Шукшина — рассказывает об истоках творчества В. Шукшина.

Много и интересно рассказывал А. Заболоцкий о писателе, о поездках на Алтай, о съемках.

На вечере также был показан фильм «Печки-лабочки», в котором главную роль тракториста Ивана сыграл В. Шукшин.



0000000000  
0000000000

**БУРЛАКОВ Юрий Борисович.** Род. в 1930 г., окончил РИИЖТ, работал инженером, газетчиком, инструктором альпинизма, проводником топографических экспедиций, профессиональным скалолазом. Мастер спорта по альпинизму. Печатался в различных сборниках, а также в журналах «Дон» и «Новый мир». Автор повести «Одним табором», нескольких сценариев для телевидения, в том числе и о Михаиле Хергиани — «Здравствуй, Миша». Фильм этот занял первое место на конкурсе «Горы и люди». В 1979 г. в издательстве «Физкультура и спорт» выходит его книга о Михаиле Хергиани «Восходитель».

**ДУМБАДЗЕ Нодар Владимирович.** Род. в 1928 г., прозаик, драматург и поэт. Автор широко известных романов «Я, бабушка, Илько и Илларион», «Не бойся, мама!», «Я вижу солнце», «Белые флаги», множества рассказов. Произведения Н. Думбадзе переведены на языки братских народов СССР, издаются за рубежом. Лауреат премий ВЛКСМ и имени Шота Руставели.

**КИКАНС Валдис Петрович.** Род. в 1929 г. Кандидат филологических наук. Научный сотрудник Института языка и ли-

тературы Латвии. Член Союза писателей. Автор ряда книг, в том числе «С чего начинается человек» (1974), «Вечнозеленое дерево» (1976). Перевел на латышский язык поэму и стихотворения Отара Чиладзе.

**МИКАВА Николай Маркозович (Маркович).** Род. в 1910 г. Член Союза писателей с 1934 года. Делегат I Всесоюзного съезда писателей. Прозаик, драматург. Автор многих рассказов, новелл, повестей, очерков, эссе, критических статей, публицистики, а также пьес, поставленных в театрах Грузии (напр.: «Краски моря», «Любовь актрисы», «Бессмертные» и др.) и переводов. Среди книг — «Мокона» (рассказы), «Сказки белой мыши», «Сыны Грузии», «Фрески» (новеллы), «Когда поют дожди» (повесть) и др.

**ОРДЖОНИКИДЗЕ Гиви Шюевич.** Род. в 1929 г. Музыковед. Кандидат искусствоведения, доцент, автор книг «Оперы Верди на сюжеты Шекспира», «Фортепьянные сонаты С. Прокофьева» и других, а также исследований по эстетике современной отечественной и зарубежной музыки и театру.

**ПАНДЖИКИДЗЕ Гурам Иванович.** Род. в 1933 г. Окончил факультет черной металлургии Грузинского политехни-

ფ. 17/3



ческого института. Прозаик, редактор журнала «Цискари». Начал печататься в 50-х гг. Автор многих рассказов, книг публицистического характера. Им написаны три романа — «Седьмое небо», «Камень чистой воды» и «Год активного солнца». Лауреат премии комсомола Грузии.

**ХАЛВАШИ Фридон Ишикович.** Род. в 1925 г. Закончил Московский литературный институт имени Горького. Автор многих книг как на грузинском, так и на русском языках, в частности, сборников «Море доброй надежды» и «Сто солнц материнского сердца».

### „ლიტერატურული მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური უფრნალი (რუსულ ენაზე)“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური უფრნალი (რუსულ ენაზე)

გამოდის 1957 წლის ივნისიდან. № 2 თებერვალს 1979 წ.

Сдано в набор 18 января 1979 г. Подписано к печати 20 февраля 1979 года. 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

40 коп



ИНДЕКС 76117